

Серия
Изумрудный Алтай

БОРИС ЩЕРБАКОВ



СТАРОЕ ПОДВОРЬЕ

Усть-Каменогорск

2014

Борис Щербаков

Старое подворье

Новеллы, рассказы, миниатюры

Усть-Каменогорск
2014 год

27052008
08 (908)

Книга подготовлена к изданию ИП
«IS – Международные стандарты»
Редактор Г.Н.Пуссеп
Рисунки В. Нетисова
Дизайнер Е. Якушева

Щ -70

БОРИС ЩЕРБАКОВ, «Старое подворье». Новеллы, рассказы, миниатюры. Усть-Каменогорск –2014 год – 124 стр.

ISBN-0000000

Книга адресована в первую очередь к юным читателям – детям школьного возраста и подросткам и представляет цикл коротких зарисовок о старом крестьянском подворье на отшибе одного из алтайских хуторов. Основой оригинальных зарисовок стали наблюдения натуралиста, изложенные специально в занимательно-познавательном жанре, в которых читатель познакомится с растениями, животными, обитающими на подворье, также на прилежащих к нему территориях. Таким образом, автор, как через увеличительное стекло, раскрыл естественную сущность за гранью неизвестного между Природой и Человеком.

Не навязчиво, по-своему, он открывает как бы заново все старо: понимание природы, окружающей сельского жителя с самого детства через некий налет романтичности на каждом клочке земли, вместо объектов культуры.

Встречи с обитателями запущенного подворья, несут характер некоторой неожиданности, что и становится ключом к простым, но, вместе с тем познавательным, открытиям. Поэтому книга может стать хорошим подспорьем школьному учителю, особенно в экологическом воспитании, она способна оживить сознание экологической морали.

Щ 06021942
09 (908)

ISBN-000000

ББК 08 Л73

© – Б. Щербаков, Г. Пуссеп,
В. Нетисов – рисунки.

Книжка адресована юным читателям – детям школьного возраста и подросткам. Представляет цикл коротких зарисовок о старом крестьянском подворье на отшибе одного из алтайских хуторов. Основой оригинальных зарисовок стали наблюдения натуралиста, изложенные специально в занимательно-познавательном жанре, в которых читатель познакомится с растениями, животными, обитающими на подворье, также на прилежащих к нему территориях. Таким образом, автор, как через увеличительное стекло, раскрыл естественную сущность, лежащую за гранью неизвестного между Природой и Человеком. Приемами избранного жанра автор по-своему подошел к решению понимания происходящего в мире растений и животных. Все очерки содержат только информацию о героях подворья, но они и научно познавательны и способствуют более эмоциональному восприятию окружающего нас мира, который находит отражение в соприкосновении человека от земли с нашими соседями по планете. Все это в полной мере отвечает времени и делает более еще привлекательным содержание книги. Рассказывая о своих героях, автор на какое-то мгновение уводит нас в детство, в прошлое, которое веками сопутствовало человечеству.

Не навязчиво, по-своему, он открывает как бы заново все старое: понимание природы, окружающей сельского жителя с самого детства через некий налет романтичности на каждом клочке земли, вместо объектов культуры.

Встречи с обитателями запущенного подворья, несут характер некоторой неожиданности, что и становится ключом к простым, но, вместе с тем познавательным, открытиям. Поэтому книга может стать хорошим подспорьем школьному учителю, особенно в экологическом воспитании, она способная оживить сознание экологической морали.

Главное достоинство коротких рассказов автора еще и в том, что зарисовки учат наблюдательности, доброте и состраданию ко всему живому, призывают к сопереживанию и, одновременно, к эстетическому восприятию окружающего мира природы. Все это сделано на простых, обыденных примерах.

Тема, поднятая автором в «Старом подворье», достаточно актуальна, и мы надеемся, что будет принята широкой читательской аудиторией, особенно ребятами с повышенным интересом к природе.



«Старое подворье» Бориса Щербакова

«На старом подворье не то, что в коммунальной квартире. Здесь не только баня и колодец, не только роши и травы, земля здесь и даже клочок неба принадлежат мне. Если по закону, то полагается подати брать за пролетевший над подворьем самолёт; птицы, которые пролетают над ним, тоже мои. Да вот беда: просвистят крыльями, прокричат – и уже далеко-далеко...» – вчитаешься, вступишься в близкое, понятное автору и не захочешь уходить с подворья, напротив, знакомишься с его обитателями, удивляешься – какая же красота вокруг и надёжность!

Понятно, – книжка адресована юным читателям – детям школьного возраста и подросткам, но приятна и мила её атмосфера, по-моему, каждому, равнодушному к жизни, увиденной Борисом Щербаковым в разное время, и представляет она цикл коротких зарисовок, эскизов, этюдов о жизни в деревне, на хуторе. В основу каждого сюжета положены совершенно правдивые, научно-обоснованные наблюдения автора, который как натуралист-ученый дает точные видовые названия животных и растений. В занимательно-познавательной форме хозяин подворья знакомит своего читателя с каждым «героем», с его биологическими и морфологическими особенностями, показывая их как бы через увеличительное стекло. Поэтому зарисовки несут не только научно-информационный багаж, но и, безусловно, – эмоциональный, что разжигает желание прочесть ее.

Автор справился с поставленной им задачей и все наблюдения-этюды – голос зовущего в природу, к земле, в детство. Он призывает побороть страх возвращения в сельскую местность, к труду, благородному труду жителя деревенской глубинки. Этот своеобразный дневник наблюдений за природой может служить каждому учителю определенным подспорьем в воспитательной

работе – как на уроках, так и на классных часах, вечерах и беседах по природоведению. Одинаково – в городе и деревне.

Важным достоинством является еще и то, что учёный-писатель приглашает нас быть наблюдательными, сострадательными, чуткими к «соседям по планете»; вызывает чувство сопереживания и понимания, порой, незаметной красоты и гармонии окружающей нас, что важно в решении экологического всеобуча молодого поколения. Вместе с тем он прививает любовь к родной земле с учётом того, что литературы о природе наших широт и *такого* порядка не достаточно или она вовсе отсутствует.

«Старое подворье» – его нужность и актуальность сегодня – будут должным образом восприняты широкой аудиторией, особенно – детьми с выраженным интересом к нашей природе... Сопровождение каждой лирической миниатюры иллюстрациями известного казахстанского художника В.Н. Нетисова, несомненно, повышают не только общую привлекательность книги, но и в полной мере – дополняют ее занимательно-познавательное, эмоциональное и чисто конъектурное достоинство.

Геннадий Пуссен

Старое подворье



*«Ничто не чуждо кочевой душе,
Ни жар любви,
ни отрешенность мысли.
Язык осин, наречье камышей
Меня в друзьях давно
и прочно мыслят...»*

Аузхан Кодар

Дом на отшибе

Тоскливое впечатление оставляют покинутые человеком жилища. Пустующее жилище хуже бездомной собаки. Мне кажется: оставленные дома с заколоченными наглухо окнами, скрипящими дверьми и сладковатым духом чуланов и чердаков, хранят глубокую, тайную печаль. И почти у каждого появляется желание заглянуть в любой уголок осиротевшей постройки, чтобы прикоснуться к чужому прошлому.

Всякий деревянный дом, простоявший одиноко несколько лет, ветшает: крыша обрастает мхом, плесенью покрываются стены, тлетворно дышат сырые, обвалившиеся погребя. А если дом стоит на отшибе, за глухим забором и подворье заросло одичавшими травами, волей-неволей возникают мысли о нечистой силе, которая гнездится по всем тёмным углам.

Поэтому, не случайно старые, брошенные избы обрастают небылицами и колдовскими тайнами. И чего только не наслушаешься о них от стариков да баб деревенских! Ничего удивительного, если станут рассказывать, что ночью там кто-то стучит, плачет, хохочет или взывает о помощи. В тиши ночей даже деревья и кусты вокруг, кажется, таинственно перешёптываются, скрывая кого-то в черноте зарослей. И тогда рождается страх: идёт следом, смотрит и дышит в затылок...

Тенёты пауков – любителей темных углов и вообще заброшенных домов – висели всюду; прогрызы в полу и стенах, осиные и птичьи старые гнёзда, скрежет летучих мышей с особой силой привлекают натуралистов-естествоиспытателей. Так было и со мной: в небольшом хуторке, в стороне от дорог, за полями и перелесками, за речкой и холмами присмотрел я дом на отшибе, в стороне от разбросанных в долине небольшой речушки Крутихи хуторских домов. Лет, эдак, десять прошло, как оставили его бывшие хозяева, и с тех пор там никто не

жил. Молчаливо-потемневший в высоких густых травах вдоль обветшалого глухого заплота. Около – низкорослые бревёнчатые сараи, колодец с журавлём да старая, с иссохшей вершиной, черёмуха посреди двора. При каждом дыхании ветерка по всему подворью оживали вдруг в волнении дремучие травы, задумчиво поскрипывал деревянный журавль, грустивший над колодцем. Все заросло: ни следа, ни тропки к крыльцу и сараям, к маленькой баньке. Одичавшая зелень полностью захватила брошенное подворье.

Домик был деревянный, из двух комнат, чулана, прихожей и кладовки. Окна прикрыты облупленными, потрескавшимися ставнями. Первым делом открыл окна, и они, словно ожившие, смотрели на меня с какой-то надеждой, обещая теплоту общения и уют.

Рядом, как я сказал, протекала упомянутая речка Крутиха. Особенная она – не берега у нее, а обрывы в крутых кренделях извивов, потому и Крутиха. Вдоль речки густые заросли черёмухи, калины, шиповников, с редкими осинами и тополями. В стороне – пышные луга осоковые с мочажинами, сочным разнотравьем и, что удивительно, с обилием орхидей. Каждое лето на них вырастают аккуратные стожки сена, и сеной дух стоит над долиной, лугами. Все так, будто и города, в котором живу, рядом нет. Нет чадающих труб, стремительного потока автомашин, суетливой и озадаченной людской толпы. Взвесив все за и против, я решил поселиться в запустелом подворье, недалеко от Усть-Каменогорска.

Деревенское утро



Таяли за окном сумерки.

– Ку-как-рее-кууу!

– Упуп-уп-уп-уп... Кжа-аа! Упуп-уп-уп...– прокричал

удод.

– Ка-га-гау, га-га...

– Гав-гав-ррр... Гав...!

– Му-у, муу!.. Му-у...

– Куды пошла!..

– Я тебе!..

Мои соседи

Первое, что я сделал, – смастерил небольшой топчан вместо кровати и в летнем сарайчике подправил небольшую печурку. Смазал постным маслом дверные притворы, иначе бы они убийственно скрипели и будили за версту всех хуторян. Вода в колодце – особая,

«сладкая», колодец выкопан был на родниковой жиле и потому вода всегда в нем была холодная до ломоты зубной. Ни солёности в ней, ни запахов – родниковая и всё. Напился я своей, родниковой воды, умылся и пошёл знакомиться с соседями, которые поселились и живут теперь на уже моей территории. Общение с соседями – дело серьёзное, а с такими как они, натуралисту – вдвойне.

В большом, запущенном подворье не так-то просто выявить, кто, где устроился. Репейники – стеной, жирные, стволы – толще руки.

Вымахали на черноземье, удобренном навозом. Среди них, как в лесу... Дягиль посреди двора генералом стоит, громадный, важный, головастый. Ежа сборная, по пояс вдоль заборов и посреди двора, у порога. Крапива где посырее – в тенистых местах; сплошь, тысячелистник – этому солнышка бы побольше.



Полынь кустами, пижма, чистотел там и тут, а всего около полусотни зеленых соседей на моём подворье.

Лето в разгаре. Полуденное солнце в тень загоняет. А травы – бодрые, ароматом дышат, да дружно в росте прибавляют. Все откормленные, одичали, независимые – будто и не я, а они здесь хозяева. Дождь, солнце, ветер – всё им хорошо и одинаково, а мне с ними веселее, с такими вот. Присел на лавку у колодца, тишину слушаю. А её, тишины-то, и нет. Старое подворье, оказывается, стало тесным для братии зеленой, да подзаборной. Спорят, бранятся, чуть ли не кусаются друг с другом травы, и все из-за места под солнцем. Растут всюду: лезут из-под половиц сараев, порогов и даже из старой поленицы. В предбаннике и том, поселились, но там они совсем другие – бледные и худые. Пленники в заточении.

На старой кирпичной трубе, что в травах одиноко торчит среди ограды, и то из трещин травинки свисают. Каким ветром занесло туда семена, зёрнышки – непонятно. Те, что посильнее, да понахальнее, лучшие места отвоевали – в тени дома, вдоль стен, вдоль заборов. Там солнце не так палит, после дождей земля долго остается сырой. А что ещё травам-то нужно? Колодец со всех сторон самые удачливые обступили. Те, что на поскотине у сарая, тоже счастливчики. Такие вымахали – шапку уронишь, если на макушку их глянешь! Порой поверить трудно, что их соплеменники, такие чахлые у дорог, на обочинах стоят.

Каждый угол обошёл, в сарай, амбары заглянул. Всюду кем-то здесь занято, кто-то да поселился там. Спиной чувствую, краем глаза вижу, – появление моё не желательно для многих обитателей запущенного подворья. Смотрят все, как на нарушителя многолетнего их покоя. Кто я, что я? Друг или враг? Мне тоже интересно: кто они мне – друзья, нахлебники? Не зря же говорят: «Прежде чем купить дом, выбери соседей».

Первое знакомство



Самыми заметными в сонме растительных сообществ, как любят говорить учёные-ботаники, оказался репей. Стоят кусты его дружные, в сиреневых шапках и шишках, похожих на бигуди. Выстроились они дружно вдоль заборов, все нахальные – у колодца, у самого порога. Подойти не дают ни к дому, ни к

колодцу. На ребристых стеблях их слоновьими ушами топорщатся мягкие холодноватые листы, прошитые крепкими жилками. Красивы и мощны их заросли. Всё бы ничего, да вон тот, что у порога, самый здоровенный и глазастый самый, не пускает в двери дома и все. К колодцу пойду – и там они гурьбой: «Наш, – мол, – делать тебе тут нечего, проваливай!»

Склоняюсь перед ними чтобы к воде пробраться. А они как черт знает кто – царапаются, за волосы ловят, за одежду цепляются. Отбиваюсь только. Ворчу, ругаюсь на них... Это я и в собственном-то подворье! В баню заглянуть хотел, и туда не пускают. Калитку из-за них не открыть. Захватчики, да и только, иначе и не скажешь. Будь я послабее, поймали бы, как муху в паутину и держали бы, пока дух не испустил. Выдираю шишки репейные из волос, отрываю от рубашки, сдираю с брюк... Клещами впились, – не оторвёшь. Отцепишь такую шишку, а она голубовато-зелёная, в ладно пригнанных чешуйках с сиреневой модной чёлкой, из душистых тычинок – на шмеля мохнатого вся похожая. Понимаю: годами эти репы дом сторожили. И, ни люди, ни собаки не бродили по подворью, надёжно охраняли дом и сараи.

– Должник я ваш! – сказал я им и каждому от души пожал зелёную лапу, да каждому почесал за ухом. А тот, что у порога стоит, на генерала похожий, после признаний да извинений моих за ворчание, привесил на грудь мне, как близкому другу, как герою, липучую медаль. Но, на всякий случай пришлось погрозить им пальцем, – Не шалите, мол, шибко со мной: как-никак теперь хозяин здесь – я! А вы все – друзья-приятели-постояльцы и ведите себя поскромнее, без панибратства, пожалуйста. Если вы сомневаетесь – кто я здесь, бумагу нотариусом заверенную покажу, с печатью она у меня.

Самый надменный

В тени забора, где погуще тень и не сразу просыхает после дождей земля, вымахал красивый, громадного роста, богатырь настоящий – болиголов. Сочно-зелёная



дудка-ствол его. На макушке лёгкое и белое, как раннее облако, пышное соцветие. Цветки хотя мелкие и все по отдельности, как у всех зонтичных, но их так много, что образовали прозрачные полушария. Порой, кажется – они парят, как медузы морские над зелёными волнами листьев. Болиголов ядовит и очень скверно воняет. Этот коварный сосед стоит над оградой и, не

отрываясь, смотрит за забор – не идёт ли кто? А если кто и решится, дыханием тошноротным отпугнёт. Сторож он надёжный. Дышит на всё подворье ядовитым перегаром перебродивших утробных соков. Подойдешь поближе поглазеть, да нос воротит набок, будто мясо подгнившее кто-то тебе подсунул. Только мухам мясным да жукам-группоедам такое все по душе. Они и являются его опылителями, на них и рассчитано. Если не сдашься и постоишь перед ним, подышишь – головную боль обязательно схлопочешь. Такой до тошноты доведёт. Тронешь если – соком обожжёт. Красота и нежность соцветий его – обманчивы, оказываются. Не только роса на листьях его, но и сам воздух вокруг опасен. Болиголов – точно душноротый алкоголик или заядлый курильщик. А вообще-то, чему удивляться? Каждый к своим уловкам прибегает, лишь бы выжить в этом не простом мире.

Рассердился я на него и в один знойный полдень из-за его ароматов мерзких, которые он щедро разливал по

всему подворью, решил выкорчевать – с корнем, что называется... Схватил лопату, подошёл, посмотрел:

– Надо же! Красив, чёрт! – Рука не поднялась. Такой весь надменный, такой независимый! На том и порешил, – пусть останется таким, какой есть. Не я его сажал, и не мне с ним расправляться. Все мы разные и у каждого свое предназначенье в этой жизни.

Глухая и застенчивая

По пристенкам, вдоль заборов, где всегда сыро да потемнее, крапива такая густящая – стеной зеленой стоит. Ровненькая вся, как под расчёску стриженная, хрупкая и нежная, с красиво выкроенными резными листочками. Каждый листик ее, кружевами обмётан. Дыхни – и ломаются водянистые, чуть остеклевшие ее стебельки. Нежной и беззащитной она стояла передо мной. От умиления и нежности к ней – погладить захотелось. Стоял, любовался застенчивой (поскольку у стен растёт) знаменитой особы. Взял блокнот, зарисовки решил сделать. Однако, карандаш нечаянно выскользнул из рук, по оплошности. Протянул руку, чтобы достать его и ошпаренный, словно, отёрнул. Крепко в тот раз она жиганула! «Вот это да!». Крапива же такая все кроткая слегка лишь колыхнула листочками и стоит Золушкой снова – скромной и робкой. Показалось – сучает с выражением тонкой, лирической задумчивости и с совершенно невинным взглядом. «Ах, ты так! Притворщица!» – Взял тяпку, и с ее помощью достал карандаш. Рука вся огнём, – Не подожгла бы двора огненная душа», – подумалось...



Тишь и благодать разлились по подворью, а я, стою пострадавший: рука огнем пылает, голова трещит от дыхания болиголова. Пожаловаться некому, кругом только зеленые соседи по моему подворью. Кричу снова в сердцах: «Обманщица! Коварная!» Но, крапива, не дрогнув, без смущения всякого смотрит прямо глаза в глаза с девичьей нежностью. «Ну и соседи! Злыдни!» – ругаюсь про себя. Вытоптать хотел поначалу крапиву зловредную да не смог, – столько в ней невинности и хрупкости было. А кричать на нее бесполезно, ведь она так и зовётся – глухая!

Ромашники

От порога до калитки и до предбанника – направо и налево сплошь на подворье – ромашники в цвету. Зовутся так цветы эти потому, что на ромашку похожи,



но крупнее. Для неискущённого они за ромашки сойдут: у них такие же паутинистые листья, цветки, что белокрылые звёздочки с махровой серединкой. Стоят они один к одному созвездиями целыми и что ни куртинка, то россыпь звездная.

Радостно, когда столько цветов. Пчёлы гудят, мушки роются разные, жукокрылые кружатся. Все здесь за пылью охотятся. Нагнулся и я, понюхал, а ромашник-то не пахнет. Однако, дух цветочный щекочет мне ноздри. Кто же из них так надушился? Присмотрелся: в траве, под ромашником, настоящая ромашка пахучая прячется, вся

в цветах как в кружевах невеста. Она и источает миротворное благоухание. Нащипал, как гусь на лугу, цветков ее, бросил в самовар закипающий. Хорошо... Знойно и сонно цветочные мушки всюду зудят... Пчёлы, что пули жужжащие – одна за одной, через подворье мое пролетают. Интересные: ни усталости, ни лени у них, днями напролет трудятся они на цветочных нивах. Не хотел бы пчелой быть. Куда приятнее в траве поваляться, на берегу ручейка посидеть, или просто в тени сарая вздремнуть, когда солнце в зените.

Прохладно и спокойно под крышей сарая. Сажу на топчане, да чай ромашковый попиваю. Прилёг после, конечно, после чая, да не заметил, как сон сморил. Успокаивающе, похоже, действует, чай с усадьбы моей. Но что удивительно – мушки и блошки ромашкового духа, как чёрт ладана, сторонятся, а меня вот ко сну повело.

Не только уснул я в тени и прохладе сарая, еще ухитрился и сон полуденный посмотреть: будто на лугу белом стою, и каждая ромашка головкой мне качает, смеётся, и слышу мелодию чудную...

Такой приятный сон был, но какой-то негодяй спугнул его: прямо в ухо мне паровозом кто-то: «У-у-у!»

Испугался, конечно, проснулся...

Синий налетчик

«Кто это?» – Не шевелюсь, а надо мной, – У-у-уу! Бу-бу-бу! – грозный кто-то. Узнал, вспомнил этот грубый голос, который слышал еще в раннем детстве, – жук древогрыз ворвался в сарай мой...

Редкими эти жуки стали – в городе. Грязь, газ и всё прочее не



приемлют они, в отличие от нас. Худо им. И вот он, словно из детства, ворвался смелый, можно сказать – нахальный. Солнце хлещет в щели сарая, прожигая полумрак и тишину. А в лучах его мечется большой, фиолетовый и громко, и грозно басыщий, пугающий... Вижу – ищет что-то под потолком, а сам рычит, не смолкая, как зверюга какая.

А вокруг полуденный зной травы на дворе разморил, цветы и листья дремлют, опустив обмякшие от зноя головки. Всех сон в этой время валит, а ему – всё нипочём. Мало того – он и другим не даёт вздремнуть. Шарахается в поисках дыр в потолке, из луча в луч попадая. Вдоль стен шарит и все басит, как испорченный контрабас. Но вот он сел на потолочную матку, затих. «Вот и хорошо, – думаю, – сон ромашковый теперь досмотрю». Но, куда там: чувствую, на лицо что-то сыплется. Накрыл ладонью глаза, сквозь пальцы посматриваю – из дырки деревянной, где жук возится, опилки ручейком в нос, в глаза, в уши. Синекрылый, с блестящим угольным телом, мощными челюстями древогрыз точит трухлявую древесину. Поглядел я и понял: час-другой поработает – и завалится мой сарай. А он не останавливается, гнездилище себе устраивает. У него свои заботы и планы: «Рухнет сарай, пусть падает. Мало ли их по деревьям понастроено! А вот если засоню этого, – то бишь – меня, – придавит – пусть: мало ли ленивых по сараям от солнца прячется!» Всё это своим видом и полным безразличием ко мне выказывал неугомонный строитель. «А, ну-ка, кыш отсюда!» – шугнул его на всякий случай, от беды подальше. Сожрёт бревно, обвалит потолок, с кого спрашивать?

«У-у-у...!» – зарычал синий налётчик и блестяще-фиолетовой звездой исчез в проеме распахнутой настезь двери... В горячем, настоящем на подвядших травах воздухе, долго ещё стояло его урчание, – видимо, обследовал он где-то по соседству другие стены из

изрядно подопревших брёвен. А я лежал и с наслаждением слушал голос далёкого уже моего детства.

Коренной степняк

Глазам не поверил: среди пышных трав подворья оказался, задубелый коренной степняк – тысячелистник. Суховатые луговины, косогоры каменистые, заполненные степи равнин – вот основное поле его жизни.

И вдруг здесь, в плену высоких трав и заборов. Паутиновые, иссечённые листья выделяли его среди других трав. Поселился тысячелистник между крыльцом и колодцем. Место открытое, солнца здесь много всегда, что и нужно ему. Крепкие одревесневшие стебельки вынесли к свету зонтики белых плоских соцветий, похожих на фаянсовые расписные блюдца. Бабочки-голубянки то одна, то другая на него присаживаются. Голубые, с пятнами и колечками, точками и запятыми на крылышках, – разные как книжные странички. Сядет такая, поставит вертикально свои крылышки – и исчезла цветная страничка сказочной книжки.

С тысячелистником на подворье пришло дыхание знойных степей. И каждый раз, как только я встречался с ним глазами, крылатые мысли сами меня уносили куда-то в бескрайние дали, к жаворонкам, к знойному стрекотанию кобылок, как в казахстанской нашей степи. Магический взгляд его звал туда, где много солнца, где волнуется серебро ковылей и полынные ветры рвут облака. Изо всех сил тянется к свету тысячелистник,



будто тоже хочет услышать жаворонка, увидеть крестик соколка-пустельги, парящей в высоком, таком же бескрайнем как степь, небе. И я понимаю его, и от того, наверное, становится грустно немного, когда встречаемся с ним нашими взглядами.

Зеленый лизун

В сером от старости заборе выбита доска, и я решил забить образовавшуюся в нем дыру. Продирался к нему



сквозь заросли, и вдруг меня кто-то лизнул в щеку раз да другой. Не собачий, не кошачий язык – грубый, как у коровы. Но не слепой я чтобы корову не заметить. «Кто такой?» – искал глазами, осматриваясь. А лизун-то оказался зелёный весь. Спрутом опутал весь забор он, распустил щупальца в разные стороны:

по столбам, жердям, даже на стенку соседнего сарая забрался. Ствол его гибкий и змеистый, цепкий, как кошка, и язык у него шершавый. Воткнул ему жердину рядом – пускай лезет на неё захмелевший. Ему, лишь бы куда-нибудь карабкаться, иначе он не может. И тогда пусть лижет всех подряд наждачным своим языком.

И правда, уже через неделю он вскарабкался по моей жердине до самого верха, и она стала похожа на ель. Вместо ствола – осиновая жердь, вместо еловых шишек – чешуйчатые колокольчики-шишечки хмеля. Подожду до осени, соберу их для теста хлебного и лекарства. Можно и бражку сделать. Крепкая получится, и тогда, может, как и он, зелёный лизун, первого попавшегося тоже

облобызаю, или заберусь на забор, на баню кукарекать буду, песни петь...

Весёлая жизнь, когда удаль, скорость и гибкость есть, как у хмеля на моем подворье!

Шоколадное семейство

Под самым окном, в густой крапиве – валежина подопревшая. Мох, как мех из ее щелей пробился. Брюхе у нее – сырое, верх – тёплый, сухой, а на боку словно приклеенная, – глянцевиная ящерка. Расставила лапки, распласталась по стволу, прикрыв в сладкой истоме глаза. Кроха она – меньше ручки шариковой. Тихотихо ступаю – сна бы её не спугнуть. Получится некрасиво, если вдруг разбужу. Однако, грех на себя взял: накрыл её тенью ладони своей, будто облако на небе свет заслонило. Глянец у ящерки, как-то сразу угас. Почитательница пляжного загара тут же приоткрыла глаза, подняла головку: «В чём дело?! На небе ни облака, а где солнце?» – внимательно посмотрела на меня, и решила, видимо, облако – я, если – да, то почему стою на земле, да еще и с вытянутой лапой, – чего загадки загадывать, чего голову ломать?» – решила она и переползла туда, где солнце. И снова блестит, как фарфоровая, шоколадная ящерка. Ещё бы – столько на солнце валяться... Вижу как повернула бочок и засемафорила огоньком красноватым. Такая, оказывается, расцветка у ящерицы живородящей. В отличие от других ящериц наших широт, только она держится сырых, заболоченных мест. Не боится она



суровых дней непогоды – живородящая: нет необходимости закапывать ей яйца в хорошо прогретую почву или песок.

Но, и глазом моргнуть не успел, а около неё ещё четыре почти угольных ящерёнка. «Ба! Да тут целое семейство! – обрадовался я – и все теперь в сборе!» Больше детёнышей у них не бывает. Молодые, глупы, посмелее. Меня не боятся. Они ползали по валежине, осматривая щели, каждый сучок, пробуя все на пути их на вкус гибким раздвоенным язычком. Поймал себя на том, что от радости у растянулись у меня губы в улыбке. Ещё бы, такая встреча! А шоколадной мамаше хоть бы что! Никаких эмоций. Похоже, собственные детки поднадоели уже. Сонно и лениво отползла от них она в сторону, растянулась и снова, прикрыв глаза, погрузилась в дремоту.

Мне давно хотелось в террариуме, поддержать живородок, но всё как-то не приходилось. Но говорят же: если очень хотеть, – желания сбываются. Сбылись! Будем жить теперь вместе. Лишь бы сорока их не поймала, гадюка бы только не объявилась, кошка с чужого двора не забрела бы, а места в подворье моем – всем хватит.

Черемуха

Знакомство с подворьем следовало бы начинать, пожалуй, с куста старой черёмухи, что у колодца с облезлой корой и усохшей вершиной. Стара была слишком черемуха, но деревьям старость к лицу: в извивах стволов их, в куске отставшей коры время запечатлено – тайна, его созидаящая и сила его разрушающая.

В колодце ветки черемухи в воде как в зеркале. В этот раз, в знойны июльский день, когда ягоды на живых еще ветках кистями свисают темными, и весна давно позабылась. А в колодце вода от павших черёмуховых лепестков белая, как в снегу. В воде студеной восковые лепестки плавали, будто только что слетели с куста. Воды зачерпнул, раздул их как пену и пил из ведра – холодную, настоящую на цвету черёмуховом. Не приходилось еще пить великолепного напитка, да еще в знойный июльский день. Кто бы подумал, что за старым забором в замшелом срубе льдистая в белоснежных лепестках вода!



В цвету стояла старая черёмуха до майских бабочек, до жуков-цветоедов. А теперь цвета её не сыскать, как прошлогоднего снега, а вот в колодце цвет ее, как весной. Такой вот еще сюрприз в моём был подворье. Тогда напился воды я и смотрю в колодец, на самом дне его голова моя с ушами да бородой, и ветка сухая сверху. «Портит портрет», – решил я и пошёл за топором, – срубить сухую макушку. Да слышу – песенка радостная, звонкая: на сухой ветке солирует серенькая, длиннохвостая пичуга. Долго стоял я, слушал, о чем она? А про топор-то и забыл.

И хорошо, что забыл: не я сажал, не мне и рубить.

Серебряный солист

На сухой ветке черёмухи самозабвенно заливалась серая славка. Длиннохвостая. Белоснежное горлышко пичужки билось родничком и, словно вскипало, от собственного голоса, и в такт руладам сотрясался хвостик ее. Уставший от солнца двор наполнился в эти минуты особым очарованием.



Но вдруг певунья сорвалась, упруго шумя крылышками, перелетела на конёк дома, на столб у ворот, на забор, крышу сарая, на макушку журавля и вновь на черёмухе.

Сухая ветка для нее как сцена. Разморенные травы, уставшая черёмуха, ящерка на бревне с шустрой семьёй и одноногий журавль над колодцем, казалось, внимательно слушали незатейливое пение. Я тоже слушал, и уносила нехитрая песенка ее – в горные степи Алтая, в опалённую зноем котловину у легендарного Озера Колоколов, да мало ли еще куда, где водятся веселые эти пичужки.

Славка все пела и пела, а я вспоминал места, где побывал за многие годы экспедиций. Пожалуй, в те минуты я сам был как старая черёмуха, может, как баня, у которой распахнуты двери. Непоседливая весёлая сломала она тишину, взволновала и очаровала наше подворье. Появление ее, как ветерок залетный, – всколыхнул и угостил каждого глотком вольного воздуха. И с этого дня каждый день в час восхода, в полдень ровно, и на закате в одно и то же время (по часам проверял) прилетала и солировала белогорлая певунья. Оборвёт руладу, поймает пролетающего насекомыша – и за забор. А там, среди луговых трав, гнёздышко у нее.

Пока птенцы малые были, забот – мало, но через неделю они подросли вдвое, умножились и заботы. Не до пения стало славке. Рты б их желтые, ненасытные набить. Так вот, с утра восходного до закатного вечернего, все в хлопотах, да заботах. Загрустит, бывало, черёмуха; тишина грузом на перезревшие травы ложится; я же все делами занимаюсь: надо подпилить, посадить, выкопать, прополоть, полить – мало ли дел на подворье! А когда время есть, стою и слушаю серебристые трели длиннохвостой пичужки.

Великан

Земля здесь была всюду хорошая – тёмно-коричневая, пахучая, как паштет, бери – и на хлеб! На такой почве в кругу великорослых трав одиноким всадником возвышается куст дягиля. Стебель его – в руку, головастый, как монгол, листья – лапы великанские. Встал посреди подворья, на весь двор орёт всем своим видом: «Я хозяин! Моё здесь место!» Среди других трав, пришедших на подворье из вольных степей, да старых лугов, из лесов, дягиль один из тех, кто почитает бережки горных речек и ручейков. Поселяется там, где поближе вода, посурее, там ему самое место.



Здесь можно понять великана, что он отстаивает занятый им клочок земли. На макушке – соцветия его,

как глобусные шары. В центре – самый большой, приличный. Остальные – по сторонам, поменьше чуть. Не соцветие, а плеяда планет, вокруг них с утра до вечера само солнце вращается. Ему здесь всего сполна. Посматриваю на здоровяка и побаиваюсь. Громадные, как две или четыре мужицких ладони, листья – лапищи, такие сожмёт в кулачище, хорошего – не жди.

Великанство дягиля удивляло. Поражали и необыкновенно крупные соцветия – полупрозрачные. У них из самой головки-стебли – лучиками и на каждом, размером с пятак, зонтики из мелких беловатых цветков. В целом, – шар, кажется, окружен светлой аурой. Что с ним делать? Он сам по себе здесь. Независимый, в чем-то вызывающий. Еще бы. Если, само солнце вокруг него ходит. «Ладно, черт с тобой, стой, расти на здоровье», – сказал ему. Не обеднею из-за клочка земли.

Мне тоже веселее в интернациональной компании трав на старом подворье.

Подкидыш

На восходе, солнце через щель сарая хлещет прямо в глаза. Славка веселее обычного в это утро щебечет. Сороки в ивнях у речки раскричались чего-то. Вышел во двор и от неожиданности оробел. Из-за забора в мое подворье заглядывал солнцеголовый переросток.

Оперевшись на изгородь, он широко улыбался круглым и солнечным лицом! Такой весь был он знакомый и простой, весёлый, как деревенский парень, которого я давным-давно знаю:

– Здорово! – говорю ему. Он улыбается, молчит.

– Откуда взялся?

Опять он молчит и беззвучно смеётся: догадайся, мол! Чего догадываться: если из-за забора выглядывает, значит, со стороны, с улицы или с поля пришёл. Тут поймался сам себе на мысли – чуть переборщил. Всё-таки он не медведь или тетерев, а простой подсолнух – растение огородное, домашнее, поэтому и знаю его с раннего детства, как петуха или скворца. Смотрим в глаза друг другу, он, по-прежнему, не перестаёт улыбаться. Солнца от его улыбки прибавляется. Потому я и проснулся от яркого света раньше привычного. Виноват, конечно, был он. Но не ругаться же, если гость такой пришёл.



– Пригласил бы в дом или сарай, – обращаюсь, – да сам понимаешь, – развёл руки я.

– Ничего! – улыбается он, – постою. Мне привычнее так, – и опять смеётся, – здесь я вырос. Подкидыш я, понимаешь? Подсолнух я!

– Ничего себе, подкидыш! Красив, как чёрт, такому только девок деревенских соблазнять, а он – подсолнух. Не подсолнух, а «красовец», как выразился Василий Шукшин.

– Мальчишка соседский семечко подбросил под твой забор. И вот видишь...

Больше ничего я у него не выпытывал, и мы оба, глядя друг на друга, смеялись. До чего же он был хорош. Высокий, с теплым добродушным взглядом, златокудрый и весь счастливый озаренный июльской улыбкой.

В городе таких не встретишь. У нас там другие – бледные, озадаченные, да еще с выражением недовольства. А в нем было что-то такое, – хочешь, не хочешь, детство вспомнишь. Но сколько же можно улыбаться, глядя вот так друг на друга, как два дурака. Напустил я на лицо серьезность – мол:

– Дел много, день только начинается, извини, друг!

– Понимаю! – отвечает. – Иди, я не против. У меня тоже дел хватает. Пошёл я, а он вслед мне всё также улыбается. И так на душе хорошо и весело было в то утро от этого.

Под вечер от работы в подворье поустал, да что-то взгрустнулось в тот вечер. Тогда и вспомнил нового друга – подкидыша, навестить решил его. Надеюсь, что от улыбки его усталость отступит, улучшится настроение. Только вижу – подкидыш спиной ко мне... Отвернулся и печально, печальнее взора не видел, – смотрит на угасающее солнце.

Они, подсолнухи, всю жизнь свою за солнцем гоняются: куда оно, туда и смотрят, и так всё лето. Даже когда дождь, тучи на небе, а они каким-то чутьем угадывают, знают, где оно прячется, и с надеждой смотрят в ту сторону, вдруг на мгновение удастся им взглядами обменяться. Потому и зовутся они ни как-нибудь, а подсолнухи.

Жуткая ночь

Хуторяне народ особенный: как в старинку – любят о чудесах разных посудачить. И каждый что-нибудь да знает такое – мороз по коже; не сам видел, так дед ему или бабка рассказывали, авторитет у них – больше не бывает. Врать никто, никогда. Частенько слушал их побасенки, да про себя улыбался. Высмеивать не дай Боже, – возненавидят. Посмеивался над ними, а сам не

заметил, как ночами чего-то побаиваться стал. В чертей не верю, колдунов тоже, да страхи здесь все живут самые разные, нарочно не придумаешь.

– Подумаешь, небылицы страшные!

Для интереса послушал и чувствовал, что пощекотал себе нервы жителя городского. В наше время трудно нас чертями запугать. Материалисты же мы, да и сами хуже них; в конце концов, не стоит фантазировать, принимать за правду глупости разные. Но живет в нас, о чем совсем позабыл, нечто такое, что днём-то пока солнце и свет, всё нам нипочём, а вот ночью, где-нибудь в лесу, в горах, да еще одному... Без привычки не по себе становится. И не дай Бог, если кто-нибудь в кустах завозится или заплещется в диком озере.



Всё передумаешь, порой, снежного человека вспомнишь, иногда забывается, – нечистой силы на свете не существует. Поэтому я долго колебался: купить или не купить этот дом, о котором тоже жуткие истории ходили, старый он и повидал на воем веку. Ну, как быть спокойным, если ты совершенно один в этом заброшенном доме, да еще в глухую полночь. В доме, где каждый угол паутиной взятся, на чердаке вещи: прятка, самовар, корыто, шкуры коровьи – лежат под пылью в ладонь. Бывает, во двор выйдешь, на дворе хоть глаз выколи – темнота непроглядная, а ты умудряешься увидеть, как глаза на тебя кто-то таращит, кто-то перешептывается, кто-то в сараях таится. Попробуй,

узнай – кто? Всё ясно: они – черти рогатые, ведьмы хвостатые... А, может быть, и дух усопшего бывшего хозяина дома. Всё в такое время услышишь, всё передумаешь, и чего только не насочиняешь сам себе со страху. Потом надоест, устанешь себя тиранить, отмахнёшься от ненужных мыслей, ляжешь, раз-другой перевернёшься с боку на бок и уснёшь. А утром уже всё нипочём. Ничего такого вроде бы и не было. Порой, смешно над самим собой становится.

– Нельзя же дурацкой фантазией забивать голову, – говорил сам себе, – глупо, повернуться можно... Ни один здесь не задушен, ни на кого не напали: ни ведьма, ни чёрт, – так вот и успокаивал себя, просыпаясь в полночь от какого-нибудь стука или собачьего воя. Я бы, конечно, не думал об этом, если бы кто-то не пыхтел под самым окном, если бы не щёлкнул крючок дверной, не брякнула на полке ложка, да не возился бы кто-то в подполье. Встал. Подошёл к окну. Выглянул и обомлел – так и есть: кто-то чёрный стоит! Затаился. На небе – ни луны, ни звёзд, а он стоит, с ноги на ногу переминается. Задерживаю дыхание, всматриваюсь и вспоминаю, наконец, – куст репейника на этом месте: «Ну, напугал как, а?!» Перевёл дух, глянул в другую сторону – и было сердце не остановилось. Опять кто-то...(?!). Причём, точно помню, в этом месте ни репья, ни чего другого. А он большой и тоже чёрный и ко мне враждебно... Припомнить от волнения ничего не могу... Кто это у меня? А он стоит, как вкопанный, и в ночи непроглядной лицо даже различаю – человечье: голова светлым повязана. «Басмач, абрек, а может... сердце заглодело, может, дух бывшего хозяина? Фу ты! – вслух выругался я и вздохнул с облегчением. – Дягиль у колодца дежурит! Это он, с дурацкой головой-глобусом из белых цветков. Вот же!»

Вздохнул с облегчением, но не успел и расслабиться, как прямо на глазах кто-то из травы выше-выше поднимается. «Тут уже не шутки! Не фантазия, не

воображение больное, – думаю, – какой же нормальный человек будет в колючих травах ночью торчать? Черт и тот не пойдёт!»

Мысли перемешались. А он поднялся и на меня в упор глядит. Кто он – тень чья или плоть нечистой силы? Хуже всего, оказывается, – неизвестность. Кулаки сжал, зубами постукиваю: «Ах, ты, голова дурья! – Щелкнул себя по лбу. – Труба! Труба полуразвалившаяся от старой кирпичной печи. Убрать не успел, сколько не собирался!»

Но на этом не кончились мои злоключения. Раз-другой скользнул я взглядом, ну, нельзя же, в самом деле в каждом репье чёрте что видеть. Но опять и опять взгляд останавливается на том вон, который около стены сарая. До этой минуты ничего подобного там не видел, и припомнить ничего путного не могу, от страха. А тут смотрю – стоит, притаился. Чего-то замышляет. Отвернулся я, постоял, успокоился и, когда резко повернулся, надеясь, что призрак исчезнет, но к ужасу своему вижу, что и он есть, и позу сменил. Ну, тут точно... Это уже не выдумки, не игра воображения. Стоит кто-то, своими глазами вижу. Но кто? Схватил ухват стоявший у печки, если что, то... И вдруг осенило! Чудом каким-то вспомнил: я же не закрыл на ночь дверь сарая! Теперь темнота в её проёме чёрным приведением встала и за макушками трав даже шевелится. Ну не смешно ли – дверной пустоты испугался! Тоже мне, материалист!

– Хватит в дурака играть, чертей в глухую полночь высматривать! – сказал я себе. – Так неизвестно до чего докатиться можно.

Пошёл и лёг. Уже уснуть было собрался, да слышу вдруг – кто-то простонал дико в подполе у меня. Лежу, затаился, в слух весь обратился, сна как не бывало. Было тихо так, что тишина не радость. Гнетет... Только слышу далеко за рощами у речки живая душа – прокуковала одиноко кукушка, раза три сонно просвистел соловей, и всё снова смолкло. И вдруг, чувствую – волосы на голове

ожили, зашевелились и мурашки по телу: «Оо-ох! Оо-х! Уу-ох! Уу-уу!» – стон слышу. Вот тебе и нет никаких духов! Вот тебе и материалист убеждённый! Сердце до висков достало и ухаёт где-то в голове. Рот пошире открыл, чтобы хорошо расслышать, кто же стонет? Дрожь всего охватила. Перед глазами морды и образы один страшнее другого. На кончиках носков, чтобы половица не скрипнула, к окну крадусь. К стрелкам часов пригляделся – ровно два. Точно – время разгула нечисти всякой: «Вот тебе и нет ничего потустороннего!»

Жуткий стон повторился, но уже вроде бы с чердака. Ухом к стене прижался и слышу снова как тихо-тихо: «О-ох, оох, уууух ууу!» – Жалуются кто-то на что-то. Подошёл к печке, створку отворил, чуть ли не головой в печку, чтобы через трубу послушать. Стонет! Что делать? И вдруг все понял и тогда только вздохнул облегчённо, но дрожь предательская по всему телу ходит еще. Плюнул с досады в печку, зола и сажа мне оттуда в лицо. Видел я этого чёрта однажды: У него два крыла и сизая грудь. Придумали же люди, сделали из него птицу мира. А птица эта дерётся во всю с себе подобными, особенно если дело до гнездования доходит. А по ночам пугает стонами грудными убеждённых материалистов.

Утром же, когда рассветало, подошёл к зеркалу и увидел себя – уставшего, да еще лицо в саже. «Кто-то измазал?!», – мелькнула мысль, да вспомнил... Умылся, глянул ещё раз на себя в зеркало – смешно самому стало. Действительно: не смешно ли по ночам чертей в окно высматривать? А чего не бывает, если ты один, да ещё в заброшенном когда-то доме, заросшем диким бурьяном. Если бы, конечно, еще не байки хуторян. Словом здесь все виноватые, кроме меня. В ограде, как заметил, подсмеивался простодушно рыжий-прерывший подсолнух. И мы с ним, перемигнувшись, засмеялись!

Было над чем...

Поющий столб

Скажи никто и не поверит, что за калиткой ветхой ограды, окруженной лопухами стоит поющий столб. А чему, собственно, и удивляться, если на дворе весна была и в час утренний, только-только солнце из-за дальних сопok выглянуло. Но, все равно удивительно было — стоит столб, как столб, опутанный проводами и нате вам — поет: «Дррр-эээ-ррэээ,.. дррр-эээ...» Небольшая пауза и снова слышится: «Дрроо-дррооо...» Опять пауза и, набрав словно воздуха в деревянные свои легкие, снова: «Дррии-дриии...»



Что за чертовщина? Ну, кто поверит — стою на пороге дома и слушаю барабанные трели поющего столба? Признаться, сам бы не поверил, если бы сказал кто-то мне, что есть поющие столбы. Более того, повертел бы пальцем у виска, фантазеру и выдумщику. Но стою и слушаю все то же самое: «Дррр,.. дрооо-эээ». Звук необычный, столб же все-таки, и один звук его сменяется мгновенно на другой передать который можно, путем «математической операции», к « $O+\ddot{E}=\text{}$ », вот получится тогда тот самый звук, какого нет в нашем алфавите. Временами он слышался, как: «O-o-o-o», если над этой буквой две точки поставить, как у буквы «ё». Послушал, послушал и решил пойти к колодцу — всполоснуть холодной водой лицо, сон согнать, а тогда уж и фантазировать. Мало ли, что... Может тогда и столб умолкнет... Так и сделал: набрал из колодца воды и

наспех умылся. Да, только вот столб за моей калиткой, как пел, так и поет.

Пришлось пойти к нему и узнать – в чем же дело: спиртного, вроде бы с вечера не употреблял, но чтобы столбы пели, извините...

Однако, оказавшись около злополучного столба, замечаю у самой его макушки среди изоляторов и проводов кто-то маленький, с воробья, пестренький и самозабвенно барабанит клювом. Конечно, узнал теперь в барабанщике – малого пестрого дятла. А он, оказывается, пробарабанит в одном месте, сделает прыжок выше и снова выдаст дробь: столб его слушается – по другому откликается; прыгнет дятелок – левее-правее, и опять столб как музыкальный инструмент, солировал, как на сцене.

Разве не удивительно, что тупорылый, остроговый, связанный проводами, как торчащими редкими волосами, прекрасно поет: на полтона выше, на полтона ниже, грубее-нежнее: «Дррээ-дррррэ-дррроо-дррии... дреее...»

Такой вот музыкальный дуэт услышал в то утро я от маленького барабанщика-ксилофониста и «поющего» столба.

«А чему, собственно, удивляться, – сказал себе я, – весна пришла – пора чудес, все как надо!»

Деревянный журавль

Одна из главных фигур подворья, кроме дома, сараев да печных труб – деревянный колодезный журавль. Он стоит над срубом, и как только у колодца открываем крышку, заглядывает он с высоты своей в зеркало студёной воды. Стоит – сутулый, с коротким туловищем и длинной жердью вместо шеи. С неё свисает цепь и на конце – жестяное ведро. Видок у журавля

неуклюж и нескладный, чуточку даже печальный. Сгорбился над срубом и грустит в одиночестве. На его хвосте камень тяжеленный – такой, что не в силах он сбросить и одолеть его: не может он голову в колодец опустить и напиться. Подойдёшь, ухватишь за нос журавль и вниз тянешь. Со скрипом, устало и нехотя, он наклоняется, и ведро плюхается в воду; зачерпнёшь полное и обратно его вытягиваешь. Вот тут-то и нужен камень-противовес – легко поднимается полное ведро, камень на хвосте старается. На придельшке сруба поставишь полное ведро студеной воды, плещется рыбой в садке, пока не успокоится – не напьешься; хлещет в нос, в глаза... Но пить станешь – не напьёшься.

Журавль привык видеть, как я утром бакулки для самовара колю. Набираю с его помощью воды, заливаю в самовар, раздуваю огонь и, заварив чай душицей, зверобоем, смородиновым листом, цветом лабазника, кипреем, ромашкой и еще какими-нибудь травами, попиваю его мирно за столиком, под старой черёмухой. Самовар старинный, как генерал – с медалями по всей груди. Стоит он на столе, выпятив медное, начищенное брюхо и гордо блестит на солнце золотыми баками, важничает. Все довольны. Дух трав пьянит; знаю – журавль тоже присел бы со мной, да не получится у него, такой он весь длинный, нескладный. Вот и остаётся ему – стоять только на одной ноге и ждать, когда снова вода мне понадобится. А пока я делами другими занят, грустит он одиноко, как вольный, на песчаной косе.





Крики из поднебесья

На старом подворье не то, что в городской коммунальной квартире. Здесь у меня не только баня и колодец, не только кусты и травы, но и земля, даже клочок неба над подворьем и тот мой, мне принадлежит. Вообще-то мне полагается подати брать, к примеру, за пролетевший над подворьем самолёт. И птицы, которые пролетают над ним, тоже мои. Да вот беда: просвистят крыльями, прокричат – и уже далеко за пределами подворья. Поэтому смотрю иногда с крыльца дома на серую славку, поющую на сухой ветке черёмухи, и доволен – хоть живет здесь птичка- славка, и она моя собственность. Она и поет для меня, как это приятно. Сорока на заплот села, знаю – воровка отменная – викторию рано утром, пока все спят, с грядок таскает, но ягоды-то мои, я их вырастил, значит, и сорока моя. Воробьи у меня на постоянное место жительство прописались. Ласточки тоже домик из земли построили над дверным косяком; кому ещё, если не мне, жилплощадью они обязаны? А вот если козы, поросята, куры соседские заберутся в огород, гоню, потому – после

них грядки перерыты, всходы выполоты и вообще – одно от них безобразие. Чьих-либо домашних не считаю своими и поэтому страшно рад, когда на подворье кто-нибудь ничей, с улицы, с соседних лугов, полей заглянет. У них только я хозяин. Никто со мной и спорить не станет.

Вот каким отменным предельно эгоистичным собственником оказывается можно стать.

Приятной неожиданностью для меня стало появление журавлей. Где-то на соседних степных холмах они видимо поселились. По вечерам, или с рассветом слышны их голоса. И вот прямо над подворьем их громкое: «Крры-кррыв-кррыв». Поднял голову – небо высокое, с редкими, отлитыми из серебра тучками. Вдруг вижу – два-три-пять над моей усадьбой кружат, ввинчиваются выше и выше, на мгновения, иногда, пропадая из поля зрения в тени облаков. А когда набрали нужную высоту, не спеша, утянулись за речку, за пшеничные поля, за соседние косогоры. Журавли улетели, опустело небо, на сердце непонятная светлая грусть осталась. Всколыхнулось что-то в груди. Захотелось вдруг бросить лопату и умчаться следом за ними в зовущую даль. Сердце моё, что ли, помнит их крики? Может, когда-то оно было сердцем журавлиным, а теперь мне досталось? Но мой дворовый журавль, по-прежнему, грустил над своим колодцем. Кто знает, может, он тоже когда-то был настоящим, живым журавлём. И грустит теперь потому, что сердце его деревянное знает и помнит полет высоты, поднебесные горы Тянь-Шаня и Гималаев... Знает оно Африку и Индию... А теперь вот на единственной деревянной ноге с железным ведром на носу, видит небеса только перевернутыми и то – отраженное в колодце, да слышит над собой настоящие крики пролетающих журавлей.

Цветок небес лазурных

С первого дня знакомства с подворьем я постоянно натыкался на упругие тёмные кустики цикория. Их голые, словно стальные стебли выглядывали из трав повсюду: у колодца, забора, около калитки – везде их время запустения понатыкало, и стоят прошлогодние здесь похожие на ржавую, воткнутую в землю проволоку.



Малозаметные были растения этого года, не привлекательные, так и стояли до конца июля ничем не выделялись. А однажды утром вышел во двор и удивился: заголубели на их стебельках – капельки бутонов, а к полудню

дружно все раскрылись. Лазурными рюмочками встали венчики их на упругих стеблях. В каждой – синевы небесной до краёв. Даже страшно, что вдруг ветерок напорхнет и все расплещет. Но, похоже, зря боялся. К вечеру уже всюду, по разным углам подворья, где я и не предполагал, нежно светились голубые-преголубые, впитавшие краски неба звездочки, а может, не звездочки и не голубые, а нежно-васильковые. Если точно – нет слов таких, чтобы передать их нежность и божественное очарование. Глаз не оторвать! У васильков, как их в народе называют, был, оказывается, день рождения, а мне-то что? У меня тоже праздник. Ещё бы – столько именинников в один день! Брожу день целый: от крыльца к калитке, к заборам, к сараям, и вижу, что каждый новорожденный на меня смотрит с нежностью, будто я отец их. Прохожу мимо иной раз, да не удержусь – оглянусь на какой-нибудь, а он – цветок небес лазурных, глядит мне прямо в душу.

В раскладе лепестки каждого цветка, что твое клёш-солнце... Сколько их таких в венчике? Посчитать хотел, да глаза от голубизны их томились, будто весь день на лазурное небо смотрел. Надел темные очки, чтобы глазам спокойнее и посчитал – шестнадцать лепестков в каждом. Интересно получается: протяжённость дня в это время тоже шестнадцать часов. Значит на каждый лепесток – по часу. Не правда ли, удивительно? День летний – длинный, и уже к вечеру они по всему двору рассыпались, некуда спрятаться от их голубых глаз. Взглядом насквозь прожигают. И сотни их следят за каждым моим движением. Так что даже неуютно стало от их внимательных глаз. А глаза их чисты и светлы настолько, что ничего дурного себе не только позволить, подумать нельзя. И как можно, если на тебя глаза детские отовсюду? Поневоле, приходится следить за собой, – не обмануть бы их чистых надежд.

Усатая «пичужка»

Встал в этот раз рано. Солнце только-только показалось из-за гор дальних. Травы горели росой, молочный туман в приречных зарослях медленно розовел и так же медленно поднимался. В такое утро пройдёшь по подворью и мокрый становишься, будто речку перебрел. Поэтому – пора скосить траву, что густым барьером поднялась вдоль сараев стояла. Крепкая, крестьянская сила в косе заложена – красивая, размашистая, свободная... Взмах – ложатся под ней пахучие травы прядями, взмах еще – падают косыми проборами... Еще и еще, и стелятся рядами повергнутые они навзничь. Влажнеет от работы лоб, по щекам, вискам жаркие, словно росные, капли стекают. Взмахнул косой в очередной раз и вижу в густой осоке, под репейным листом, как под крышей, – гнездышко

соломенное: маленькое, как у самой нашей маленькой пичужки – короляка: «Что за птица свила его здесь? Пеночка? Не видел, не слышал...» Заглянул в гнездышко, а там птенцы копошатся – голенькие, красные, ползут друг под друга. «Не буду трогать, – решил, – выберу время и выслежу хозяйку гнезда, узнаю, кто еще без прописки на моем законном участке проживает?»

Так и сделал: в полдень залег в траву около, чтобы видно было, когда хозяйка подлетит. Час прождал, два – никого. Засомневался: не бросила ли? Встать хотел, было, да вдруг замечаю, – подрагивает сам по себе лист



репейника. Затаил дыхание, жду и вижу: по травинкам ловко скользит хвостатое существо, покрытое красноватой шерсткой. Глазам не верю: мышь-малютка! Малютка потому, что самая из всех мышей – крохотулька – чуть больше наперстка. Мышка ловко нырнула в отверстие и скрылась в соломенном шарике. Подполз ближе, чтобы рассмотреть получше, но она услышала и тотчас выставила озадаченную мордашку из

отверстия и, вопросительно натопорщив усы, «спрашивает»: «Чего, – мол, – тебе?» Некоторое время в упор мы смотрели друг на друга. Хозяйка гнездышка, поблескивая чёрными икринками блестящих глаз, старалась узнать кто я: она дергала носиком, шевелила округлыми ушками. «Вот так пичужка в птичьём гнездышке», – признаться, впервые встречаю ее жилище. Было время, что искал специально гнезда мышей-малюток, но безуспешно. А тут нате вам – на моем участке. Так часто бывает, ищешь в одном месте, находишь в другом и неожиданно.

На следующий день, осторожно, чтобы не спугнуть ее, подошел к заветному месту и, затаившись, ждал появление усатой мордашки. Но мышка не высовывалась. Тогда я слегка потряс гнездышко... Не выглянула. Станным это показалось.

— Ладно, подожду еще и сегодня, — мне было интересно понаблюдать за зверьком, который цепкохвостой обезьянкой по травинкам, по веточкам и стебелькам лазает и, как птица, вьет гнезда. Снова залег и снова жду — и час, и два... Лопнуло, наконец, терпение. Посмотреть решил на детенышей. Но как? Отверстие столь маленькое, что палец большой едва проходит. Расширил слегка вход. И каково же было удивление — познакомившись вчера со мной, она сочла знакомство наше фактом неблагонадежным и от греха подальше, как говорят, перенесла голышей в другое гнездышко. Мыши почти все в этом деле очень расторопны. Стал искать другое гнездышко по соседству, но так и не нашел. Засомневался уж — не съел ли ее кто, не разорил ли? Здесь много желающих. Однажды даже ежа встретил — редкость в наших краях большая... И тогда я на малую хитрость пошел: на шершавый лист репья, что стоял рядом, положил кусочек шляпки молодого подсолнуха. Пришел к вечеру — не было мышки, все на месте. Однако, на следующий день репей держал на ладони листа только шкурки от семечек. Дело наладилось: через день в десяти метрах нашел ее новый дом, в котором копошились уже покрытые шерсткой мышата. Назавтра все повторилось — она вновь где-то построила новый дом-гнездышко и перенесла своих драгоценных мышат.

Так и играли мы с ней в кошки-мышки: я искал ее дом по всему подворью, а она быстро и незаметно отстраивала себе новое жилище и «переезжала» на другое место. Мне было важно знать, что на подворье жили не только разные травы, птицы, ящерицы, но и звери...

И такие знаменитые, как мышь-малютка.

Хатьма

Под самым забором, где лопата никогда не врезалась в землю, а земля не знала лопаты, на этой самой целинной полоске плотно росли жёсткие осоки, калашник, дурнишник... Тут же распустили округлые с вырезами листья, высокие стебли хатьмы тюрингенской. На ее одеревеневших, многолетних корнях встали высокие стебли. Из года в год они поднимаются из этих корней, цветут, усыхают, а весной заново возрождаются, как каждый многолетник. По три-пять стеблей отходит у нее от одного корня. В нижнем их ярусе листья солнце пьют и отправляют по стеблям живительные его глотки к корню, а корень в долгу не остается – живительным соком земли стебель и листья питает. Живёт так, как и каждое растение. На верху стеблей хатьмы листья растут впроредь и мелкие, а выше ещё, у самой макушки, вместо них, узелками-бутоначками стебли, словно обвязаны. Знает хатьма что-то такое, что связано с теплом далекой от нас Тюрингии, где сколько хочешь и солнца и моря... В наших краях она живет по своему расписанию: со счета не сбивается – в своё время, один за другим, каждый день, начиная с макушки лета, открывает свои плотные бутончики с секретом. И так почти весь август – вспыхивают и горят сиреневые цветы, пока на пороге сентября не обгорит её вершина. Ходил вокруг кустов хатьмы, поглядывал, удивлялся их девичьим тайнам: «Для кого – такие красивые? Откуда – секреты у них? Кто все это придумал?»



И так, с середины лета, загорались и пламенели всё новые узелки-бутоны, словно изнутри кто-то зажигал в них огни – розовые, сиреневые, белые.

Стоят кусты хатьмы нарядные, обвешанные граммофонами – сочные, свежие: «Откуда столько огней, красоты?» Через день-три один за другим вверх по лесенке поднимались, вспыхивая фонариками, новые венчики. Закроет если солнце тучка, а они горят, по-прежнему, светятся, не меркнут. С середины июля и весь август дни стояли солнечные, и всё потому, что цвела хатьма. Не сомневаюсь – если красавицу из моего подворья пересадить в горшок, то под её разноцветными фонарями книжки в час ночной читать можно, как под абажурами. Радость на подворье – россыпи цветочных огней! А тайна хатьмы ещё и в том, что каждый узелок на стебле развязывался в южный, знойный цветок.

Сразу и не понял, что было в ней так притягательно? Оказывается, есть в томных глазах её что-то восточное, и вся она – молчаливая нежность.

Пошёл и побрился, захотелось мне, скажу по секрету, хатьме понравиться.

Враги искусства и литературы

День выдался знойный, а ближе к вечеру тучи, пришедшие с запада, обложили весь небосвод. Травы, деревья на подворье моем попритихли – почувствовали: дождь надвигается. Тоже присел к столу из широкой доски, прибитой к столбикам, вкопанным у сарая. Негромко переговариваясь, на луга два журавля пролетели. Книжку записную достал, настроившись на лирический лад. Записи делаю. Но ветер вдруг налетел, рвет книжку из рук. И словно, куда-то торопится: мешает, страницы сам перелистывает. Пришлось придержать их, чтобы нацарапать хоть что-то. А он-то –

хорош, нахал: мешает, как может. Враг настоящий моих опусов. Ругаюсь я на него, упрекаю, что делом серьезным тут занимаюсь. А он не только книжные листы вырывает, но еще и в ухо насвистывает. Мешает писать, а мысли-то были хорошие. И жалею теперь – записать не успел из-за его озорства.

Жалко: мысли были хорошие...

Наконец-то, утих он, поняв словно – ни к чему себя так вести. И как бывает всегда, после ветра, перед самым дождем, наваливается гнетущая тишина.



– Вот, – думаю, – это то, что и надо: сейчас напишу такое! Мир всколыхнется. И только собрался с мыслями, а мысли были хорошие, так не понятно откуда – мошка и комары появились. Тут я и пожалел, что ветра не стало. Боялись они его и где-то отсиживались. Теперь у них праздник, я же теперь не какой-нибудь гений искусства, а просто очередная жертва для них.

Оскорбительно! Утешало одно: может они перепутали творческую личность, с коровами да телятами с соседних подворий. Но, чувствую: я им понравился больше, чем ветру: колют и жалят с разных сторон – то руки, то шею; лезут в уши, глаза. Какое уж тут вдохновенье, хоть и мысли хорошие, живьем кровопийцы съедают. Вместо того, чтобы мыслить, писать, – лопнуло терпение всякое. Исчезло вдруг вдохновение, мысли хорошие улетучились: захлопнул книжку с досады, придавил комаров в ней десяток, и давай ей отбиваться от врагов настоящего искусства.

И странно: ветер внезапно вновь объявился. В миг он разогнал врагов литературы. Но вдохновение –

чувственное, хрупкое и, особенно мысли – хорошие, меня тут же покинули, улетучились, как комары и мошка.

Но с каким удовольствием под крышей сарая, слушал я, как стучат капли дождя по листьям репейника у колодца, по пустому ведру барабанят, как по клавишам, долбят по крыше сарая. И понял, прекраснее лучших мыслей всего человечества – музыка дождя и шум непогоды.

Ночные луногрызы

Прежде и слова такого не знал и не слышал и, пожалуй, так и не услышал бы, если в поздночасье яркий свет среди ночи не ударил бы в глаза мне, спящему: «Неужели день, а я сплю??» За окном светло, но свет тонкий, золотистый и какой-то тревожный. Оказывается, – в чистом, сквозном небе луница такая – глазам больно. Редкость-то какая! Подобную я только над пустынями Средней Азии видел. Безмолвная, громадная, чуть заметно дымилась она тонким, золотистым светом. Фантастический свет её заливал луга у речки, что вязала крутые петли извивов около подворья моего, умело скрывалась в крутых, заросших цветущей черемухой, тополями, ивой, берегах. Вдали призрачно светились далекие вершины алтайских хребтов. Прямо перед топчаном, на котором спал, на крашеном желтой краской полу, золотился квадрат, будто кто-то на пол набросил коврик, сотканный из лунного света.

Тишина, оглушительная,.. звон в ушах... Тревожно бывает, когда вокруг столько тишины да еще луна полуночная, необычная. Мир, залитый призрачным светом с золотистым дымком, казался окаменевшим. В такой час, как говорят, какая-нибудь чертовщина – в разгуле, под покровом ночи шабаш устраивает.

Огляделся на всякий случай. Все обычно в избе, все привычно: блестел начищенный бок медного самовара, оставленного на столе. Зайчики лунного света на ложках застыли, и еще одинокое пятнышко светлым паучком зависло в тюлевой занавеске. Всё казалось тихим,



печальным. Тихо серебрился крашенный в голубой цвет подоконник. Округа была объята глубоким сном. И вдруг: «Зкрр-зикр-зирр-кпррз,.. — что-то скрежещет, — кто же?» — Насторожился, но всё тут же затихло, и опять тишина пугающая. Непонятное ожидание

восстановилось. И вот уже снова кто-то тихо и осторожно что-то грызёт. Осторожно, воровски как-то, грызет. Чтобы не скрипнуть, приподнимаю осторожно голову и вижу на краешке лунного коврика, на полу — серебристое существо. Лучиками усы в стороны и тонкая запятая хвостика. Мышка! Держит она что-то в кулачках и грызёт: «Сухарь столетний? Зёрнышко?» Грызет так громко, что и не слышит, как уже топчан подо мной скрипит, не замечает и того, что за ней наблюдают. Но вот она села прямо на коврик из света и торопливо умывается. Глазам не верю — золотая мышка: «От чего золотая — от света? — И тут догадка страшная, — она же луну погрызла! Как сразу-то не догадался?» Теперь и сама золотая, а на луне дыры — тёмными пятнами видятся, как в спелой дыне.

— Ах, луногрызка полуночная! Дочка чёртова! Ишь... Успеает! Пока мир спит! — Хлопнул по постели — а ну, — кыш отседова!» Мышка в мгновение исчезла, словно никого и не было на лунном коврике. Смотрю на луну: «Вот незадача, — луна-то подпорчена! Теперь будут каждому землянину видны её тёмные подгрызины».

С той поры, каждый раз, когда смотрю на ночное светило, вспоминаю серебряную мышку в старом моем доме, ставшей вдруг золотой. Такая маленькая, а каких бед натворила! Нередко так и в нашей жизни случается.

Всё это я по большому секрету рассказал. Узнает ещё кто-нибудь, неладно говорить станут обо мне, о моём подворье: «Безобразия, развёл там нечисть всякую, до луны уже добрались!»

Помалкиваю об этом. Но, признаюсь, также по секрету, – есть моя вина личная, что пятна тёмные на луне.

Простите, с кем не бывает – обмишулился, недосмотрел...

Цветы из детства

У тропинки от крыльца к колодцу – одуванчики расстелили листочки и поднялись нежно-зелёными розетками. И однажды, в одно росное утро, дружно вдруг все раскрылись. Теперь на месте невзрачного кулька – светят солнечные зонтики. Стоят все на полых ножках, у самой земли, но хорошо видны издали.

Сказывается яркий свет цветка, даже если и далеко или у самой земли, все равно заметен, как талант С этого дня на подворье

моем стало еще веселее прежнего, будто детство само заглянуло в облике маленького солнышка. Простые, милые цветки, словно всегда были здесь. Кажется, ничего и особенного – одуванчиков даже в городе, на каждом зелёном клочке земли полным-полно, у дорог – целые поля! Где человек обосновался, туда одуванчик за



ним и следует. Вот и здесь стал он самым обычным. Но разница была в том, что среди трав, я увидел их как бы заново. Жизнерадостные, с раннего утра они раскрывались, и каждый считал себя только одного – похожим на солнце. Оно так и есть, как две капли воды: одуванчик – солнце, солнце – одуванчик... В первые дни цветки его, словно разочаровавшись в уходящем дне, с закатом плотно закрывались в своих корзинках, и под небом становилось вскоре темно. Наступала ночь. А утром всё начиналось заново, и одуванчиков становилось всё больше. Посчитать однажды их хотел, да дело это пустяшное отложил на завтра. Но каково же было огорчение – утром, вместо привычных цветков, кучерявились светлые, как облака, шевелюры. И больше еще был огорчен, когда ближе к вечеру на их месте увидел понурые, с непокрытыми плешивыми головами стебельки, похожие на глубоких старикашек... Каждый был таким мрачным, опечаленным, что казалось – все они и похоронили свое солнце. Может, так и было. Для них оказались теперь позади дни свиданий с солнцем, дружбы с пчёлками, поцелуи с ветром и всё другое, что связано с жизнью и летом. Они таяли и бледнели на глазах, но стояли уже не заметные и никому не нужные. У старости, оказывается, радости все позади. Однако, уже на следующее утро под ними же, словно златокудрые ребятишки, заигрывали с солнцем уже другие цветки, и мир на подворье вновь повеселел. Вокруг красовались те, что помоложе, и радость сияла в их смелых глазах. И показалось, что в каждом цветке есть что-то от людей. А может, наоборот, но так подумалось мне только.

Между тем, жизнь в подворье шла своим чередом: вскоре открылись другие бутоны одуванчиков (молодость, как всегда, берёт своё); детство и лето глядели снова в лицо мне каждый день... Из каждого цветка.

Выпей с ладошки моей

Решил как-то на досуге к речке пойти, послушать, о чем травы там шепчутся. По лугу иду и вижу: на широком в ладонь листе чемерицы роса постреливает огоньками.

Ядовитая трава! Однако, не удержался, заглянул в глаза росинке а в ней далекие горы под шапками снега, да лес вдаль ночи темнее.



А чемерица тихо и ласково мне: «Выпей! Не пожалеешь. Откроется тогда тебе мир лугов и лесов...» И так все понятно, но уговорила ядовитая – выпил. «У меня тоже, не откажи», – предложил росный напиток, удерживая на узких листьях пылающий лиловыми огнями цветков Иванчай. Тоже заглянул в росинку и там – пышные луга, покосы дальние, стожки горбатые, – красота! Как отказаться! И тоже выпил. Вдоль речки тропинка вьется, травы о сапоги бьются, шумят, болотинки чавкают... И снова слышу: «Выпей у меня!» – Шептали мне герани луговые, окропленные голубым на лепестках синеватых цветов.

И в каждой росинке – холмы, березняки, изба лесника и облака над ней плывут белыми розами...

– Чего ж? – сказал я, и, правда, красота-то какая!

Не отказался, конечно. Как не выпить, если от всей души... Пил, помню, росу с лица цикория синеглазого, с цветка золотистого одуванчика и других разных цветов, в росинках которых были и небо, и солнце, скалы и рощи заречные... Каких только картин в тот раз не увидел я в

глазастых росинках лабазника, володушки, огонька, золотарника... Разве запомнишь всех? Припоминаю, что глянул ещё в росинку чью-то, а в ней – странное мне



ведение: рожа на меня кривая, чужая уставилась и взгляд у нее тупой и бессмысленный, но веселый. С трудом, но узнал в ней себя.

– Чего уж, пить, – говорю себе, – больше не с кем общаться, пить, так пить – и с маху, с росой себя самого выпил.

Нравилось мне в тот раз все, и так легко и приятно стало: мыслей никаких – легко все и просто. Праздник, он и есть праздник. Приятно бродить по лугам, перелескам, и особенно хорошо, когда угощают. И так день весь: пей – не хочу! Угощайся!.. Так и бродил за хутором своим. Тропа мне не нужной стала. Продирался, помню, через непролазный кустарник, другой раз туда и палкой бы не загнали, а теперь все ни почем было. Заглядывал зачем-то в перелески березовые и совсем не помню, как угодил к речке – соседке своей. Поет речка и мне весело. Вот и кружил под музыку ее среди берез и осин, в пихтачах и всюду угощали и угощали меня. А что? Человек я слабый, ни кому поперек не встаю, особенно когда с душой к тебе. Пил напропалую росы с листьев, с цветов у всех на глазах и у всех подряд. И так

наугощался, что с трудом припоминаю, как обнимался с березкой, с ветром дуэтом о чем-то пели; молоденькую осину от души целовал; без повода со старым тополем спорил о чем-то, а с пнем дурацким, корявым бодался – лоб в лоб, чтоб не вмешивался, где не просят, и под ногами не путался. День провел, лучше не надо! Всё, как кажется, припоминаю, а вот, как на хуторе оказался – нет. Не мне б и рассказывать, но ночью снилось чёрти что: видел, как розовым лес горит, а то поляна синяя-пресиняя, вся в звездах небесных, то гора – яркая, как солнце и тайга как сажа черная. Снилось, будто в грязных болотах тонул, в пропасти бездонные падал, под облаками летал...

Почему-то проснулся в сарае: в одежде лежу на голых досках топчана. Голова – не моя: трещит, раскалывается...

– Вот, – думаю, никаких тормозов: зачем слушал речи цветов и пил, меры не зная? А мне кто-то опять тихо и вкрадчиво:

– Эй, ты, непутевый! Выпей-ка у меня, опохмелись, легче станет! Обернулся, а рядом репей в тени у сарая, на листьях его широких, как лапы медвежьи – росы алмазные. «А чего ж не попробовать? При жажде после оргий вчерашних. Один раз на свете живем... Гулять, так гулять!!!»

И снова – с листовых ладоней, с бутонов и лепестков обласканных летом цветов, трав самых разных. Пил все и пил напитки их из синих, красных, белых, оранжевых бокалов цветочных. Пил не просто росу, а настоенную на красоте гор далеких, приречных зарослей и перелесков, озвученных голосами кукушек, да удалью соловьиного щелканья... Был это праздник лета, стерегущей подворье, поэтому пил, наслаждался и славил природу, столь щедрой ко мне непутёвому.

Пернатый командир

Каждый вечер с речки моей щёлк и свист соловьев; разражался скрипучими покриками коростель-дергач: «Кррэк-кряк-кряк...» И так бесконечно наскрипывает



одно и то же, будто по разбитой дороге колесо тележное.

Ночь напролет не спит, все бродит по сырым лугам и «поёт» возлюбленной «ужасную» свою серенаду. А то вдруг в самую полночь кукушка очнется и тоже свое: «Ку-ку! Ку-ку!..» Не спится им, пора любви

пришла. За это только все им простить можно. С кем не бывает, когда не спится ночами...

Кому «песни» на уме, а другим забот, как говорить, — полон рот: подрастающие уже, оголодавшие совыта поскуливают, в приречных дебрях то горлинка глухо застонет, то совка-сплюшка, словно от боли зубной, застонет. Слушаю музыку ночи и не замечаю, как заботы и хлопоты личные отдаляются. Незаметно, погрузившись в мир звуков прекрасного, засыпаю, сладко и крепко. Не зря в лечебницах отдыхающим от бессонницы прокручивают голоса птиц, шум ветра или журчание ручьев. А тут все — живое, настоящее.

Но, где-то с середины мая, поселился на поле за оградой подворья другой обитатель — перепел. Этот, не только спать не давал, но еще и командовал. Утром за окнами стоит еще легкий сумрак, и спит все подворье, даже легкий туман в кустах, у речки, рассвета дожидается. И ты в теплой постели нежишься — благодать-то, какая! А он перепел этот: «Подь — полоть! Подь — полоть!..» Ну, какой сон, если тебе приказывают?

Полоть, признаться, не люблю – женское это дело, а вот пойти на покос, дров наколоть, сад полить – это моё. Конечно, встаю, полоть – не-ет, не пойду, а вот делами привычными заняться придется. Весь хутор спит, собак и тех не слышно, а я из-за перепела на ногах уже. Приказал же...

За работой время спорится. Главное, все в том заключается, что на этом участке я собственник, и дело это – на своей земле работать – великое, приятное. За делами не заметил, как полдень наступил. Хотел, было, пойти, отдохнуть в тенечке, а мне снова с луга: «Пить-полоть! Пить-полоть...»

И то – правда, запалился косою на жаре махать, топором да лопатой орудовать. К колодцу иду, набираю не без помощи журавля воды студеной, пью из ведра, от души пью, отдуваюсь. И напоследок – хрустальную, изогнутую струю выплескиваю под черемуху, у колодца.

Опять время – не время, дело-то любимое, с землей... И снова не замечаю, как день к концу уж пошел. Теперь слышу: с луга, как отбой приказали: «Спать – пора! Спать – пора!» Тоже правильно: от работы, как говориться, кони дохнут. Это приятно слышать: пора и на отдых от дел дневных. День-то на закат пошел.

Лежу на топчане, а сквозь соловьиный щёлк, кукушкины всхлипы, томный стон горлиц да скрип дергача – снова знакомый слышу окрик: «Спать пора, спать пора...» Устал за день: ни рукой, ни ногой шевельнуть, перепела слушаю и не замечаю, как уносят в неведомое крылья сна...

Больно коротки ночи летние, и рассвет скоро наступает. И опять, когда хуторские собаки спят, как одна, бабы коров в поле не выгнали еще, а мне снова: «Иди в поле, время полоть!»

А что остается? Если ночи так коротки, если приказано: «Подь – полоть!»

Значит время вставать...

Небесный ледоход

В знойный полдень августовский воздух раскалился до такой степени, что дальние горы в разгулявшемся



мареве едва виднелись. Травы, словно погрузились в глубокий сон, сникли: мух и тех не слышно... Живое все спасалось в тени. А чего мне? Хуже всех, что ли? Бросил на доски топчана в сарае старый матрац, в изголовье - пучок душистого сена; руки за голову и совсем было, вздремнуть собрался. Только вижу сквозь широкие щели в прохудившейся крыше, как в безбрежье голубого неба, как в пору весеннего ледохода, взломанными льдинами

снеговые облака - медленно, рядами, стайками и вереницами, плывут. Тени от них - плотные и «жидкие» и все через подворье мое проползают.

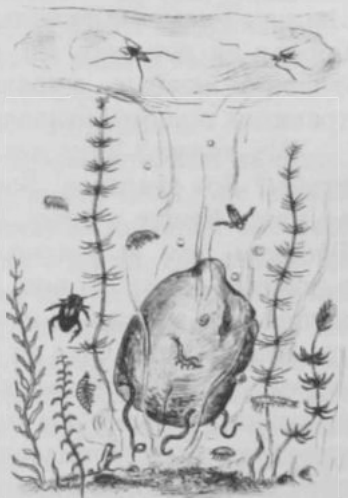
И все, как на реке: между серебристыми льдинами, как вода нежная - голубизна глубокого неба. Интересно как-то: лежу, а надо мной - «льдины» проплывают, словно не на земле я, а на дне океана: вместо морских ежей - шиповатые шары репейник расставил, кораллами - на стеблях соцветия болиголова; сараи с навесами и темными тенями в них, что скалы подводные; а вот и морской скат в вышине орлом кружит. Удивляюсь: как раньше ничего подобного не замечал? Оказывается, так интересно на дне океана, все как во сне. Так и уснул в морских глубинах, а проснулся от укусов комаров, напавших на сонного меня. К этому времени небесный ледоход закрыл наглухо небо: приближалось ненастье, потому так колко озверевшие кровопийцы напали. Перед

дождем всегда – комары и мошка одолевают. Жалко – сон досмотреть не дали. Если бы не крылатые кровопийцы, не известно, сколько проспал бы, спасибо комарам – разбудили.

Надвигалось ненастье, а дел на подворье хватало.

Что делать, как быть?

В один из знойных дней, когда разлилась по подворью томная лень, усталость в свои объятья взяла и меня. Выбрал я старую иву, опустившую до земли ветви, которая росла у забора дальнего, в ее тени, как в шатре – прохладно. Вот и присел отдохнуть на плоский, кем-то привезенный до меня еще, валун. Сижу, наслаждаюсь прохладой, люблюсь синевой дальних гор. Ветерок время от времени – в лицо... Облака неторопливо – светлыми теньями по небу... Никто никуда не спешит. Так было тихо и мирно. Лишь время от времени промелькнет мимо бесшумная бабочка, кобылка лениво прострекочет, и снова в полуденный сон все погружается. Травы и те размякли, опустили от зноя макушки и чутко, на стебле своем, как цапли на одной ноге, дремлют. Налетит если ветерок, качнет их, и они, как одна, встрепенутся на миг короткий и снова в сон-дремоту погружаются.



Внимание привлек в этот раз маленький тополёк. Он едва выглядывал из-под камня, на котором отдыхал я.

Придавленный камнем, он жалко смотрел на сонный ленивый мир. Тополек явно задыхался и мучился. Видимо, когда-то занесло по камень пушинку с его семечком; рос он в сырости и неге, а теперь задыхается. Похоже, прежний хозяин подворья привалил: бросил на него булыжник этот и ушел. Смотрю на несчастного, а он, это видеть надо было, так печально смотрел на солнечный мир из-под тяжелого гнета. Жалко стало его...

А тут я еще на камне – совсем трудно было топольку. Встал я тогда и перевернул камень, ничего это мне не стоит, а ему... Под камнями всегда травы: бледные, тонкие, измученные неволей. Трудно приходится им: ни солнца, ни воздуха. Но, перевернув камень, вижу, что придавил им другие травинки. Их тоже жалко. Вот беда! Поднял я камень: тяжелый, дрожь в коленях. Понес его и бросил на дорожку, но, смотрю, он и здесь не к месту: букашки разные, муравьи и так же всходы каких-то травинок под ним оказались.

Что делать? Куда девать-то его, никому не навредить чтобы? Вот связался! Вот незадача! Вынес этот булыган во двор, ближе к дому, но и здесь места ему не нашел. Бросишь его и кого-нибудь да обидишь. По всему подворью искал уголок, где бы бросить его, да так и не нашел: кто-нибудь на каждом клочке земли живет. И это те только, которые в поле зрения, а сколько их незаметных, невидимых? Прежде, не обращал на это внимания, не замечал повсеместного пребывания вокруг сплошного «народонаселения». Выход, кажется, нашел – обрадовался даже: положил его в рюкзак, в котором продукты из города привожу. В рюкзаке у меня: фотоаппарат, телеобъектив, бинокль... Теперь в нем ещё и булыжник поселился. Но соседство, как вижу, не из добрых – ломает, беды натворит он и в рюкзаке. Рассердился: сколько можно? Швырнул его в траву, к забору и ушел делами заниматься. А на душе-то не спокойно. Сам теперь беды натворил: кто-то под ним страдает, мучается, по моей вине. Возможно, задыхается,

о помощи просит, только я вот не слышу. Представил себе всё это... Умрут ведь и всё из-за моей жестокости. Пошел к забору, поднял его. По сторонам смотрю, но нет места, чтобы выбросить его – везде кто-нибудь да растет или копошится – червячки, паучки, жучки... Вспомнил, наконец: есть небольшое болотце на лугу, у речки. Тороплюсь с камнем к нему.

Обрадовался – самое место для него, никому здесь не нужного. Бросил его в воду и облегченно вздохнул. Муть в том месте, куда он шлепнулся, поднялась. Но я успокоился: наконец-то! Однако только муть осела, как вижу – там, в болоте-то, больше еще пострадавших: роятся вокруг камня потревоженные бокоплавцы, стайками кружат обеспокоенные жучки, клопы, судорожно извиваются червячки, да ещё и водоросли из-под него выглядывают и смотрят. И куда б вы думали – прямо на меня. Покой подводного царства нарушен был мной. «Пожалуй, и есть жертвы», – подумал я.

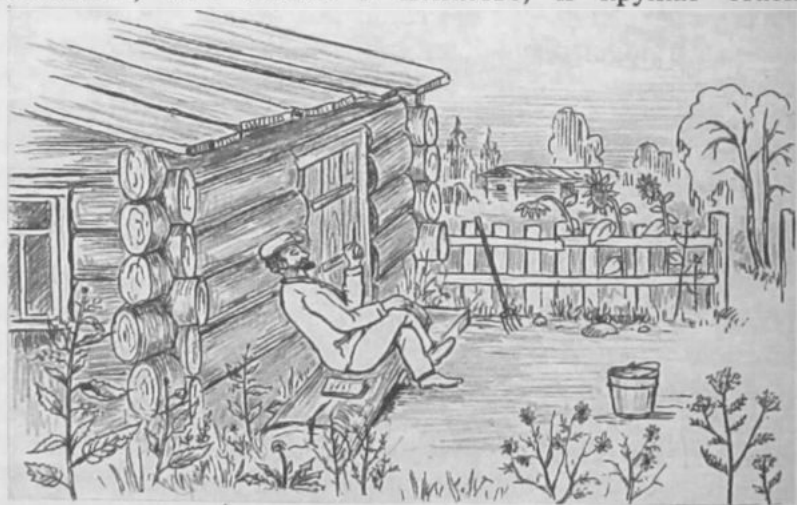
Естественно, под камнем их не меньше, чем на суше. Дома и убежища у всех разрушил: «Нет, не место булыжнику на болоте». Совершенно лишним он был всюду, после того как его сорвали с места, где лежал он веками. Теперь он был лишним, ненужным вообще на планете. Вышел я с ним за ограду, но и за подворьем – то же самое... У каждого существа на земле уголок свой, клочок есть родной и туго придется каждому оказаться под камнем: погибнет в муках. Итак, мне ничего не оставалось, как взять его и увезти в город, где много асфальта и мертвых дорог. Так и решил.

Еду с камнем в город в общественном транспорте и думаю, не дай Бог, кто-нибудь узнает, что у меня в рюкзаке – дураком сочтут. Ну, да ладно, пусть, лишь бы не навредить никому. Приехал в город. Вытащил его из рюкзака, огляделся: никого, и положил прямо на асфальт. Но вижу – и здесь не место ему – налетит машина, запнется человек, беда из-за меня случится. И портит булыжник «дизайн» дорожный. Взял тогда его во

двор, где городская у меня квартира. И вот что удивительно: это то самое место оказалось, где двор основательно вытоптан, выбит колесами: ни травинки, ни козявки и ни былинки, земля в нем мертвее асфальта. Положил камень в сторонке и со спокойной душой ушёл. Есть оказывается такие в городах наших места, где можно смело разбрасывать камни и прочее, и никто этого пока не замечает, но...?

О чем они мысли?

Уединение всегда располагает к раздумьям, в другое время на них, раздумья-то, и времени нет. А тут, на подворье, в кругу трав, у сараев, у речки, озвученной птичьими голосами, сколько влезет тебе, думай! Думается-то здесь свободно, не то, что в городе. Никто мне не мешает и мысли, как пчелы у улья, роятся – не злые, светлые и поэтические. Но бывает и так, что навалятся, как облака в ненастье, и кружат стай



грачиной; а то такие мелкие, никудышные, признаться

кому: стыдно – ну как мошка... Порой, они настолько навязчивы: сами что-нибудь тебе накручивают. Бери, хоть палку, да отмахивайся. Но мысли есть мысли и никуда от них не денешься.

Сию это я, как-то, на бревне обветшалом и слушаю, о чем травы ропщут тихо так, у забора. Бабочек, жуков провожаю глазами; мушками разными на цветах люблюсь; голоса птиц слушаю... К мыслям своим тоже прислушиваюсь: что мне нашептывают? И они рассказали вот о чем:

– Жизнь на планете – чудо величайшее из всех чудес Вселенной, и все, как Великая поэма космическая, сочиненная самими богами. Каждая буква в поэме, знак в ней – бесценное достояние. Проще говоря, что ни буква – то стоит за ней какое-нибудь растение или животное. А их-то на Земле, как знаем, двенадцать-четырнадцать миллионов, а может, и больше.

Таков вот алфавит Жизни на нашей планете. «Каждое слово этой поэмы, – как шепчут мысли, – генетический ряд, госпожой Эволюцией за миллионы лет созданный. Каждая в ней строка или предложение – чередой прошлых эпох, в которых, как в котле волшебном, чудеса с живыми разные все это время творились».

Было и так, что одни виды вымирали и их сменяли другие, потом новые появлялись и так до бесконечности. В поэме богов есть также знаки, к примеру: тире (–) – не что иное, как указатели на связь поколений; запятая (,) – крутой поворот или зигзаг Эволюции. В Космической книге после тех, кто достоин восхищения, придуман замечательный знак – восклицательный (!). Нашел место себе всех истязавший мучитель – (?). На знаке этом умов немало свихнулось, не мало открытий сделано, благодаря ему. Много чего тайного, неизвестного за ним. В поэме небожителей много также фактов, означающих появление на Земле новых растений или животных, также много и фактов, связанных с исчезновением бывших обитателей планеты. И таких – тьма-тьмушая.

В поэме богов есть еще и точка (.) – самый маленький, не заметный, порой, знак. Однако, значение его, оказывается, так велико! И как мала б ни была эта точка, она есть голова всем и всему. Она, как никакой другой знак, не завершает течение времени или явления. Все она останавливает, нить жизни она обрезает. И вот беда – возникает обычно там, где не ждут ее. После точки – провал, пустота.

А мысли, пока я сидел и прислушивался к ним, настойчиво твердили: «Ты вот – хозяин подворья, сын человеческий, знай и не забывай: за тобой тенью полуденной, по пятам ходит тоже точка. Да еще: зла на Земле не твори, делай добро; знай, что у точки малой душа тоже есть и большая. Может стать так, что время твое пришло, а она пощадит, пожалеет тебя. Тогда вот живи и радуйся, сколько захочешь, пока от жизни сам не устанешь».

И опять мысли мне: за Человеком, как существом уникальным, всегда строгим часовым, еще один знак стоит, а с ним рука об руку и вопрос. А все потому, что с появлением человека на земле, изменилось многое в судьбах растений и животных. Теперь он один на один с Эволюцией: тысячи видов, созданные ей уничтожены, и многих подвел он уже к краю гибели. Теперь сам он ставит точки в судьбе живущих на земле. Грамотей этот, с лицом просвещенца, расписался, где хотел, и всюду роковых точек наставил. «Знаешь, – тревожно мысли шептали, – индрикотериев, мамонтов, птиц многих, диких верблюдов, тигров, лошадей диких – всех, как зверь лютый, уничтожил он! Столько наставил точек этих – не сосчитать. Если б их таких мелких, как маковое семя собрать все, не горсть получилась бы, а сундук до верху набитый».

Но человек всё еще творит дела черные, не осознает, не останавливается. Каждый день и век каждый, обмакнув роковое перо в океан времени, одну за другой

на пути своем ставит точки, бездумно и легкомысленно решая судьбу беззащитных соседей своих по планете.

– Помни, Человек, – угрожали мне мысли, – есть точка главная (•), и будет она поставлена после страшного слова, златом сверкающего: имя ему – **Цивилизация!**

В гостях у старых друзей

Лето в разгаре. Решил однажды речку навестить, тихую заводь послушать. Бреду берегом, а речка, как и прежде – быстрая, торжественная... Ветерок вдруг из-за засады налетел: зашумели, заволновались травы; зароптали тополя и березы. Луговые осоки поменялись: зелень яркую ядовитую на блестящий лоск и глянец сменили. Рябь по воде; на тихой речке пружинистые круги нарисовал...

Ухнул, вдруг слышу: кусок отвалившийся от берега.

А в кустах малая бормотушка – птичка такая, скороговоркой бормочет. «Не зря», – думаю, назвали так невзрачную пичужку: вместо голоса трель у нее журчащая, грудная, похожая на воркование. Неумолчно, без передышки, как будильник, придавленный подушкой, – тарыхтит сверчок обыкновенный. Тоже пичужка – малая и скрытная, редко на глаза кому попадет. Продираясь через кусты, сорокопуга



вспугнул: взлетел красавец на макушку шиповника, покачивает хвостом, словно пальцем грозит, строжится, а сам «жекает», «чакает»: прогоняет — где-то, значит, гнездо у него здесь.

Ивы у берега раскосматились, ветвями воды достают, русалками у воды склонились. А видится, что — мне и кланяются; подрагивают зябко, а сами серебристыми косами помахивают. Мол, рады видеть тебя... И вдруг — чистый вопрос мне: «Витю видел!?».

— Нет, — мотнул головой по привычке, — никакого Витю не видел, не знаю...

А он, тот самый, в кустах снова мне — звонко, настойчиво: «Витю видел!?» И так подряд одно и то же. Не только отвечать, слушать надоело. Крикнуть захотелось: «Отвяжись, пожалуйста! Никакого ни Витю, ни Митю не видел, не знаю, и знать не хочу!» Но, посудите: как сердится, когда на макушке тальников ярко-малиновым цветком покачивается самец чечевицы обыкновенной. Много их здесь в приречных тальниках. Но, лучше не связываться с ними: проще идти и никому, ничего не отвечать.

Всё было так в этот день, как всегда. Обитатели речной поймы озадачены были делами своими. Да, все, как было и до этого, когда приходил сюда в гости. Как всегда, все пребывали здесь в хорошем настроении, хотя и заняты неотложными делами были.

«Ну и что, что без приглашения пришел — соседи же, как не навестить?» — Не знаю, как они, а я по привычке всех старых друзей и знакомых навестил, своими глазами увидел всех. Побывал, послушал, поговорил с собой, и на душе так спокойно стало.

Заводите новых друзей, но никогда не забывайте старых.

Вруша!

Из всех птиц, живущих в долине речушки у хутора, она самая оказалась самая таинственная. В то же время – самая заметная и самая загадочная, потому что все время прячется в зарослях, словно кто-то за ней охотится. Час потеряешь, высматривая ее в кустах, где поет, и не увидишь. Другой раз досада одолеет – невидимка какая-то! Было и так: стоит одиночный куст на лугу, а из него ее песня. «Ну, все, – думаю, – сейчас увижу». Однако, черта с два... Обязательно, как сквозь землю уйдет. Много скрытных пичуг в наших краях, но чтобы вот так...



Похоже, у нее есть причины оставаться такой скрытной, никому не попадаться на глаза. И причина в том, что она среди пернатых своих соседей – самая отчаянная вруша. Поэтому и боится на глаза попадаться! И дело вот в чем: кричит или поет она резко и громко, и выговаривает она совершенно чисто: «Сен-тя-брит! Сен-тя-брит!..» И чего это, когда другие птицы с весной только с дальних зимовок явились, гнезда строят... Речка бушует, берега рушит половодьем, а она всем громко, что уже «сентябрит». Осенью пугает.

Несколько раз всего видел ее, и все в ее внешности есть от профессиональной вруши и проныры: рыженькая слегка, остроносенькая, с мышинными повадками. Проныра из проныр! Да еще и хвост короткий, округлый, чтобы не «зацепиться» в кустах, когда от кого-либо удирает.

Другой раз вруша с толку сбивает: только ветерок прохладный с гор дыхнет, а она уж всем: «Сен-тя-брит!» Заморосит чуть дождик, и она – тут как тут со своим

прогнозом: «Сен-тя-брит!» Врет, не останавливается и налево, и направо, потому и прячется. Вот когда придет сентябрь, тогда и поверить можно будет, а так все лето напролет обманывает, панику всюду сеет. Зовут ее, эту пичугу – широкохвостка. Она из представительниц скрытного рода камышевок, а они все – народ скрытный. Но вруша среди них только одна.

Солнечная птица

На сырых лугах у речки, селятся желтые трясогузки – одни из самых многочисленных здесь. И пока идешь



вдоль речки, они то и дело вылетают и, тревожась за гнезда, спрятанные где-то на земле в густой траве, попискивают печальными голосами, покачивают длинными хвостиками, перелетая по макушкам кустов. Необычное ярко-золотисто брюшко делает их

далеко заметными. Летит трясогузка и кажется, не птица, а оживший солнца кусочек. И это не все: спинка у нее зелена, как майский луг. И сколько б не шел вдоль речки, они постоянно вокруг вьются, порхают и, неотступно, как, сговорившись, сопровождают. И льют свои «слезы» печали, тоски: «Псив-псю-твирить...»

Тоскливо от них становится, но, оказывается, прорастают из «слез» их среди осок и гераней луговых, лютики желтые, солнечные. А луг майский у речки весь был заплакан, забрызган «слезами» солнечных птичек.

О чем поведала реченька

«Открой сердце свое, и речка
расскажет тебе о многом».
(Японское)

Далеко слышно было, как шумела и пела речка-реченька. К ней вплотную подошли ели старые. Лет по сто и больше каждой; березки на берегу столпились — слушали речную мелодию; насупившись, словно совы, слушали ее пни трухлявые. Все слушали ее внимательно, и все соглашались с ней во всем: ели взмахивали лапами; трепетали берёзки, поверив во все, что она им пела; тугоухие, но внимательные, давно одряхлевшие пни, похоже, о времени думали что-то, о том, как когда-то вот здесь же, шумели зелеными кронами.



Столько утекло с тех пор времени, а реченька, как всегда — молодёхонька. Такая же шумная и красивая, и все напевает, о чем-то гремит, бурлит и воркует. Околдовала всех она и голосом жизни, глаз не отвести — красотой; тоже — присел я и слушаю. Как натуралисту мне догадаться не трудно — о чём поют птицы, или шепчутся о чем-то травы, а вот речка о чем — вопрос, да еще какой! Но все знаем: если чего-то пожелать очень — сбудется это обязательно.

— Если глуховатые, даже полуразвалившиеся пни ее понимают, — думаю, — мне будет проще...

Прикрыл на всякий случай глаза, чтоб не отвлекаться и внимание все в слух обратил. И вот на удивление, тотчас доступным язык ее стал мне. Пела она, как оказывается, и рассказывала об убелённых снегами вершинах далеких хребтов; пела она о тех местах, где родилась, о том рассказала, куда путь держит. Много было в шуме ее грома от камнепадов, в грохоте слышался голос снежных лавин... Напевали воды ее о ветрах на синих вершинах, о том, как волны ее пересекались об острые скалы; слышны были перезвоны вьющих гнёзда птиц у самых льдистых истоков ее; то были голоса оляпок, куличков, трясогузок; и рассказала мне речка, как с клёкотом с неба упал на архара орел. А уловил в ее звонких напевах о тишине ледников, спящих веками с тех самых далеких эпох и, конечно, — о шелесте звёзд.

Торопилась она и на ходу рассказывала о белизне ее породивших снегов; о том, что там, облаков выше, на горных лугах полыхают огоньками жаркие. Но больше еще поверил ей, когда горсть ледяной воды зачерпнул. Студеная, льдистая, зубы выламывает... И вижу, как над бурлящим порогом вспыхнула водяная пыль радугой семицветной и пуще, и ярче еще представились мне альпийские луга — красочные, многоцветные... И все-все, о чём поведала реченька, оказывается, — сущая правда. Не зря, слушали и верили ей старые ели, трепетные берёзки да трухлявые пни, которым рассказывала она о себе и где родилась. И об этом она днем и ночью рассказывает всем, чтобы не забывали о родине, которая одна у каждого.

Во все, о чем она говорила, я поверил.

— Не потому ли, — подумалось, — не отрываясь, мы смотрим на разбег ручья или речки, перебирая в памяти прошлое. О чем-то еще говорила и говорила мне речка, но о чем — догадаться не просто.

На нас они не похожие!



Лето в тот год засушливым выдалось. Дожди, если и случались, то редкие, кратковременные. И вот однажды, к вечеру ближе, небо закрыли плотные тучи. Раскаленный днем воздух загустел и, как всегда пред дождем, стало душно, комары навалились, мошка; спрятались муравьи, зарыв ходы в муравейнике. Воздух впитывал всю тяжесть свинцового неба. Помрачнели, серыми стали луга; степь затаилась, притихла, и птицы, как сговорившись, разом умолкли.

Всю ночь до рассвета стучал по крыше дождь «просяной», нудный и мелкий. Зашумит ветерок, дождь оживет, в приступе даст гопака прямо на крыше, то птицей в оконные стекла забьется... Подмечено точно в народе, когда про дождь говорят: «Ранний гость до обеда, а поздний уходит к утру». Так и случилось: только к утру он прекратился...

А утром все по другому: на поголубевшем небосводе, празднично сияло солнце, и пуще прежнего щебетали птицы; росами искрились окропленные травы и по всему

подворью играли искрами солнца. Унылая вчера еще степь – помолодела и посвежела... Светилась листва на деревьях, и каждый цветок улыбался чему-то.

Новая сила зазывала в дорогу. Что делать, – сдался, конечно: оставил подворье и снова подался в раздолье широкое. Любовался, как посвежел вчера еще пыльный типчак; как в поголубевших полынях зелень осок заметнее стала; шалфей удивлял загустевший лиловыми красками и всюду – лютики золотисто, как звездочки, светились в полынях. От унылой вчерашней степи и следа не осталось. Безмерную даль теперь молодила седина ковылей. Степь, обрела крылья свободы; кружила она и ликовала от подворья до самых далеких холмов.

– А травы-то, – подумалось мне, – точно, как мы: пировали ночь напролет, а утром травинка каждая, испившая воздух дождя, встала, стоит посвежевшая. Все, что около, все, что вдали – степи, рожи, сопки, холмы – изменились, похорошели и посвежели, не как мы – после застолья...

Степь и только степь...

*«Я степь люблю за скромную природу,
За тишину, тревожащий покой.
Люблю ее бескрайнюю свободу,
Окутанную нежной красотой».*
(Ольга Закржевская)

С той стороны, где начинается день, прямо к калитке с «парадной» стороны побегают неоглядная степь.

Особая это страна – не знает границ, ни речных берегов: как ветер – вольная, как птица – быстрокрылая. Нет, она не лежит, не простирается, она постоянно куда-то бежит, стремительно обгоняя столбовые дороги, минует аулы и села... Стоит повернуться и глянуть в какую-либо сторону, а она уже там же, у самого

горизонта. В другую сторону повернешься, — то же самое; хоть налево, хоть направо поворачивайся, крутись, и всюду она — быстрая и стремительная. Бродили по ней сто-сто пятьдесят лет назад дрофы, куланы, а заменили их столбы телеграфные. Днями по ней, такой одинаковой идешь, спасения нет, нет ей конца и края — нет!



И вдруг вдали, у линии горизонта, рощица замаячит, либо горушка всплывет. Ноги сами туда направляются — новое что-то... Позади километров десятки, а рощица та и горушка остаются все также далекими. День потеряешь, сапоги разобьешь — не просто ходить по равнинам ее. Среди горизонтов ее, как среди морских берегов.

Покоряется степь скакуну лихому, а если птице — то быстрокрылой. Потому и песни, рожденные народом этой страны, летучие и протяжные. И люди ее с особым характером, с душой вольнолюбов, и жадных самых до вечных кочевий и странствий.



Однажды, решил я шагнуть за калитку с подворья и пойти в степь, которая давно приглашала.

О чем думает степь?

У степи свое место под солнцем. У нее, как у нас – свое лицо, есть и мысли свои. Но как узнать, о чем она думает? А вот узнал, как это сделать: надо сначала



взглянуть на бескрайнее небо над ней. По небу ходят и бродят почти всегда облака. Они летают и ползают, они рождаются и исчезают. Облака и есть не что иное, как ее явные и тайные мысли. Мысли ее –

облака разные, как и положено. Они несут образ мечты; они легки и воздушны, хмурые и суровые, словом мысли как мысли. То они бесконечны или являются так себе – обрывками, веселые, грустные или беспечные. Без границ бывают, без очертаний – размытые, путанные и, как облака, переболтанные ветрами. Порой, когда небо сплошь облака закрывают, степь тогда тяжела, неприветлива. Но проходит время и небо над ней очищается, тогда и она веселеет и улыбается даже. Степь, когда оживет, становится ласковой и приветливой. Все так и происходит, как творится это с нашими мыслями. Но человек-то и ловок, и хитер: может улыбаться, а мысли его тучи мрачнее. А степь вот не умеет лукавить. Она проще, а значит и чище духовно.

Мысли ее, то есть облака, обычно светлы, серебристы, серые, но бывают темными или даже синими.

Кто знает, и наши мысли, может быть, имеют краски свои, только вот, как увидеть, узнать? Мы ведь такие лукавые.

Маленькие чудеса степей

Не просто так степь женского рода: такая же притворщица и обманщица. У горизонтов ее миражи и все, что в их власти — нереально-зыбкое и размытое, все — не правда.

Словно рядится она в одежды невидимки... Вглядываться станешь — все в ней не так, врет она беспечно, рисует картины нереальные; то постройки вдали она оживляет: растянет вширь их, размажет, расплющит у горизонта, а то и слегка приподнимет их над землей.



Висят кибитки и юрты над ней облаками прозрачными; невесомо парят над ней и едва различимые мазары рыжие. Обманщица она великая: показывает одно, а пойдешь туда, там другое все. К примеру, в ладони ее бескрайности сбежались кусты, и стала там рощица с лужайками да полынными островками. Нельзя не поверить ей, если видно все, и фальши там никакой. Но! Пойдешь, а там опять, по-другому все. Не то, что сначала степь показала: между кустами, полынями — расстояния в километры. И все неузнаваемо, не так все, как виделось.

Или вдруг вдали синеющая появилась горка, холмы за ней... Будто степь, уставшая от свободы, простора, глубоко и облегченно вздохнула. Но вот незадача: ни горки, ни каких холмов нет, словно их крова языком,..

как говорить. Особенно в знойные дни, когда миражи по степи гуляют: ходишь одураченный, да обманутый...

Но, все-таки, интересно, когда шутят и развлекают тебя. Как не любить фокусников, шутников и, конечно, обманщиц?

У лужицы

Со склона небольшой сопки после дождя сполз пласт земли, обнажив глинистое нутро ее. Из сопки пробился «родничок»; вода капелька за капелькой из-под него вытекала и образовала лужицу. Рядом речка, воды сколько хочешь, а бабочки облюбовали лужицу: садятся у края одна к другой, вплотную. Да так много слетелось — бережки скрыли, словно обросли они лепестками цветов разных.



Присел около на корточках и наблюдаю, как они пьют. Расправив пружинку тонюсенького хоботка, бабочки втягивали через него влагу,

помогая взмахами крылышек: взмах — глоток, взмах — еще глоток... Пили подолгу, будто из пустыни какой прилетели...

В эти минуты они теряют бдительность, и мне удается даже их крылышки потрогать: у этой белые с темными прожилками — боярышница; желтая — лимонница; те, что поменьше, голубокрылые — голубянки; и обрелись все такие разные. Всех и не знаю, не разглядишь их, когда: то взлетают, то кружатся и

салятся. Прилетела и траурница, словно в темной рясе, окантованной светлыми кружевами.

И столько их разных с полей и с речки, близких и далеких перелесков собралось – глаза разбегаются: темнокрылые с белым крапом, красные – с черными черточками, точками, кольцами. Залюбуешься – до чего же в своей фантазии природа изобретательна! Даже глазок самой лужицы, поголубевший от чистого неба, сам, будто боится просмотреть красоту – застыл, не моргнет, как и я наслаждается необычным зрелищем: любитесь махровым разноцветьем своих бережков. Как можно осторожнее протягиваю руку: но тень неожиданно ложится на бабочек...

И тотчас над лужицей повисает слышный чуть дружный шелест, а перед глазами – цветная метелица.

Подхваченные ветерком бабочки быстро разлетаются; чудо пропадает и на глазах лужица сиротеет. Но не проходит и минуты, как снова летят, кружат над ней бабочки, несмело садятся другие уже, но такие же красивые, разноцветные.

Где-то, напившись нектара, они слетаются, утоляют жажду, и бережки лужицы снова оживают, обрастают лепестками летающих «цветов».

Воровка златоперая

Лето пошло к концу: на дворе август.... Все как-то сразу изменилось: поутихли в рощах у протоки птицы. Исчезли разом шумные дрозды и скворцы, у речки не слышно пеночек. Вороны, сороки и те замолчали, редко на глаза попадают. И только, как ни странно, большая горлица, как и весной, глухо и угрюмо стонет среди погубевшей листвы тополей. Этого мало, так он и токовые полеты вершит над рощей. Взял я в этот раз

чашку и пошел последнюю жимолость добрать да еще вишни.

И вот незадача: кто-то раньше меня сделал это: совсем мало синеватых ягод на кусте жимолости; вишня вообще оголена – только листья и остались. Кто-то же подворовывает в моем подворье. Убей, не догадываюсь – кто? Грешу, конечно, на сорок и ворон – падкие они на чужое. Поэтому все беды, все недоразумения на них сваливают, даже когда они сном-духом не ведают о чьих-то злых деяниях. Чуть огорчился, но больше заинтересовался: «Кто же?»

На утро следующее встал на рассвете, подошел к окну, сел на лавку – караулю ворюгу. Тишина вокруг ранняя. Буркнула сонно чья-то собака; корова чья-то мыкнула; и снова тишина. Ни карканья, ни стрекотания... Показалось вскоре и солнце, полоснув косо лучами по спящим тополям, опалило макушки деревьев и моего сада... И тут, краем глаза, замечаю, как со стороны солнца отломился лучик и молнией мимо окна.

– Ладно, – говорю, – обломок солнечный потом найду, но сначала узнаю, кто же орудует в подворье? Пока не подкараулю, не уйду.

Признаюсь, не ягод жалко, но нельзя же так вот, – втихую, воровать и хозяина дурачить. Вроде, всех знаю, с самой весны; многих след, как говорится, простыл уже, а какой-то невидимка промышляет.

Посижу, покараулю... И вижу, как в обратную уже сторону снова золотистым лучом полосонуло прямо к встающему солнцу. Чудеса, да и только! Еще минута и «солнце» снова пулей мимо окна. Думать забыл про ягоды, как можно усидеть, если солнечный метеорит туда и обратно – перед самым окном.

Приоткрыл дверь, выглянул и вижу: на моей жимолости – иволга златопёрая, яркая, как солнышко. Только крылья, как фрак, чернеют и ладно облегают её фигурку элегантную. Глаза яркие, клюв красноватый –

сказочный, прямо – «Конек-горбунок». Рвёт иволга ягоды синие с моего куста и поспешно заглатывает их. Понимает, видимо, что ворует. Ну, кто подумать мог: такая красивая – муза поэзии, про неё песни поют! И вот, что делает в моём подворье.

Наглотавшись наспех, словно галушек, ягод зрелых, и сразу стрелой мимо – в тополиную рощу. А оттуда – жалобные чуть голоса: «К-а-а-в, каа-и-ив..!» Забежал в избу за биноклем: сидят, как вижу, будто передо мной на тополиной ветке два иволжёнка – зеленоватые, не как их папаша – вор. Покрикивают птенцы, и каждого током словно бьет: дергают крылышками вверх-вниз, телом трясутся, точно парализованные.

Так, оказывается, есть хотели они. А папаша в золоте весь и: то одному, то другому в открытые клювы толкает ягоды с моей жимолости. «Да ладно: нужны мне эти плоды!?»



Видеть такое – дорогого стоит, дороже, чем весь урожай жимолости и вишни в моём саду. Про ягоды свои позабыл и подумал: «На следующий год ещё посажу кустов жимолости и вишни, пусть прилетают, воруют мои ягоды птицы солнца, лишь бы мимо окна пролетали, лишь бы кормились на моём подворье, в моём саду».

Давно съели мы эти плоды, а вот птица солнца, ворующая синие ягоды, и сейчас перед глазами, как живая.

Семь смертных грехов

Как и каждый, грешен я всеми смертными грехами.

– Надо взять ромашку, – посоветовали мне, – с семью лепестками; на колени перед ней встать и покаяться во всех своих деяниях. Тогда каждый из ее лепестков запишет смертный твой грех. Сорви ее и, вспоминая каждый из грехов, записанных на ее лепестке, срывай их и бросай в бурлящий поток. Вода унесет грехи, и душа твоя очистится.

Такой вот, оказывается, легкий путь от тяжелого груза, который взял на душу, избавиться. Так и сделал: исповедался перед ромашкой, сорвал ее и, вспоминая

грехи свои, обрывал и бросал лепестки в горную речку: первый из грехов назвал – «Зависть!»

– Не безгрешен, – сорвал первый лепесток и бросил. Унес его бурлящий поток.

– Алчность! – Из горла вырву, если мне надо... Есть такой грешок : рву и бросаю еще один лепесток.

– Агрессия! – Сколько хочешь, как без нее? Пусть только кто попробует! Но,

лучше избавиться и от нее...

– Чревоугодие! – Люблю поесть и в меру, и не в меру, почаще и повкуснее. И пусть, как говорят, лучше пузо лопнет, а я съем. Хотя, знаю, пора от лишнего веса уже избавляться. Опять отрываю и бросаю лепесток.

– Прелюбодеяние! – Интересная статья в биографии мужчины. Но лучше, если решил избавиться от дел грешных, расстаться и с ней. Рву и бросаю.

Так вот и дальше вспоминая грех очередной из моих семи – рву и бросаю остальные безвинные лепестки в



беспощадно глотающий их поток, очищая черную свою душу.

Вижу, что лепестки кончились, а грехов у меня – не семь, а поле ромашковое. Посмотрел на бывшую такую красивую ромашку, а она уже и не ромашка – оголилась ее головка, которую лепестки украшали. Осталась в руках на стебельке – как на шейке тонюсенькой головенка мужичка лысенького, безликого, ветхого. И понял я: если каждого из нас очистить от грехов нажитых, то не только потеряешь их, но и лицо человеческое.

Это они нас, оказывается, делают такими, какие есть мы на самом деле.

Дед Дык – учитель великий...

За лето успел я признать знакомиться с соседями по хутору. Люди живут там разные, по-своему они мудрые, есть у них чему и поучиться. Они и на слово меткие, и на дело каждое сгодятся. Также по-своему, по-особому, учатся сами у себя, у жизни самой.

Жил около моего подворья старый дед. Приятный,

рассудительный, а звали

его почему-то странно – Дык. Станут хуторяне говорить между собой и слышишь частенько: «Дед Дык – печку нам лепил. Если бы не дед Дык, кто бы крышу подправил». – «А мне намедни такой ли туесок отгрохал, – так о нем и говорили знающие его старожилы.



– Деда! Как это хорошо у тебя все получается? – Внук деда спрашивает, наблюдая, как тот ловко инструментом орудовал.

– Дык, я это – топором, как сам видишь.

Так и выходили, даже из-под топора, ладные у него – лавки, табуретки...

– Дык, видишь,.. – отвечал на очередной вопрос внука дед, каждый раз, перед тем, как собраться с мыслями, немного помолчав, – дык, чего голову тут ломать, просто все: малость покумекай, дык, все и получится.

После такой вот философской тирады он замолкал и надолго. Руки у него, казалось, сами обучены были мастерству; сами работали, а он только глазами из под нависших бровей смотрел, руки сами делали все.

– Деда! – А это как у тебя? – Спрашивал снова внук, наблюдая, как быстро и точно один к одному кирпичи он кладет, как выводит трубу, припечек... И печка на славу у него получались, всем нравилась.

– Дык, еще мальцом был когда, отец мой, бывало, это,.. – Дед, как обычно, умолкал, а внук теперь наблюдал молча, как все он делать умеет.

– Деда! – А туесок берестяной, как такой красивый получается, с узорами, даже, – Как это ты?

– Видишь ли, внучок, я, дык, это самое...

И наблюдал внук, как дед режет берёсту, как смело кроит ее, стягивает, да узоры резные на нее клеит, и все ладно, все красиво. Видел внук, как сапоги дед тачает, без единого гвоздя, на березовых только шпильках, да еще по старинке – на скрипучем ходу сапоги-то. Идет в такой обнове мужик, а сапоги поют под ним: «Крись да крись!» Залюбуешься.

– Деда!? А это,.. – показывал внук на телегу, на колеса...

– Дык, видишь ли, как это, как его...

Прошли годы, и бывший внучок сам не заметил, как стал отцом. А потом и дедом стал. Но так же умело, как

дед его – Дык, делал любую по дому работу, соседям помогал. А если спрашивали его:

– Как так: все под руками у тебя горит; кто учил мастерству такому?

– Дед у меня был, – говорил он, – звали его просто – дед Дык, все он умел, за что ни брался. Правда, малость, не разговорчив был, но педагог великий. Теперь таких мало. После таких пространных объяснений он тоже умолкал и дело свое делал.

При исполнении...

Знойным полднем присел я на колодину под окном; разулся, сижу, тишиной насаждаюсь, прохладой и не знаю чувством каким, но ощущаю на себе взгляд чей-то.

Огляделся. Из травы бирюзовыми глазами открывшихся утром цветков цикорий смотрит; болиголов, задумчиво склонив белую шапку соцветия, похожего на шар, искоса, в полглаза, косится.

«Неужели и у него головная боль, если так воняет», – подумалось. Считал, дыхание его кому-то другому голову раскалывает, но все, похоже, было – у него, самого болит голова.

Смущало, что еще смотрят десятки глаз цветов разных, да букашек всяких. Но здесь не как в городе: ни машин, ни шума городского и ни горячего асфальта. Насаждаюсь, сижу, никому не мешаю и мне никто...



Однако, чувство подсказывает: кому-то мешаю. А кому? И вот кто-то вцепился в мой палец. Нагнулся, посмотреть, кто же такой там ногу мне отгрызает? А на



ней муравьишко, да такой – смотреть жалко, маленький, беззащитный, а кусается, гаденыш, больно. Спросить, было, по-братски хотел его, за что так меня? Но вспомнил: живут они большими домами и давно – миллионы лет. Для них незыблемы законы – «один за всех, все за одного». И этот герой, что грызет мне ногу, не сомневаюсь, по особому заданию прибыл и напал первым. Похоже, было, что ему наплевать, что делаю я – отдыхаю ли, стихи пишу или просто дурака валяю. И причина в том, что сел-то я около его муравейника. Стряхнул нахала без гнева, понять попытался его поступок. И вот, как представилось прошлое его и настоящее: «Появившись из яйца где-то под землей – в тепле и темноте, еще не увидев света, он внимательно выслушал Мать-Царицу:

– Сын мой! Тебя мы произвели. Нянчились с тобой десятки самых прилежных нянек, до того времени пока ты был никто еще и в пеленках кокона-яйца. Не только нянчились с тобой, но еще и охраняли тебя brave солдаты; другие добывали корм каждый раз с риском, кормили тебя, и ты вырос!

– Вырос?

– Да, вырос! Глаза есть? Видишь, над нами солнце?

– Вижу!

– Лапы, челюсти у тебя?..

– Есть, да...

– Иди и работай теперь, дом свой, Царицу-Мать защищай... и преумножай мощь нашу – впереди долгая предстоит зима. Вот тебе первое задание: видишь вот того, который, как скала над нашим домом, с лопатой день-деньской возится, на городище наше постоянно, как слон наступает?

Понятно, муравьишко, никогда не видевший солнца, на зная что есть слон, прекрасно понял другое – мать наказала, значит надо идти и исполнять. А она ему:

– Попадется когда тебе этот, – на меня указала, конечно, – кусай его не жалей, чтоб знал – здесь не один он. Научи и других уважать...

– Да! Понял! – Сказал муравьишко, отправился нападать на меня и, как клещ, со своей маленькой злостью вцепился в лодыжку мою... да еще и грызет, что есть силы: «Вот тебе за дом наш, за народ наш, за Мамку-Царицу...»

Взял его я на палец – маленький и тщедушный, но усами по сторонам грозно водит, смотрит на солнце, на облака, на дом мой, у которого под окном родная ему колодина. Все было так красиво, но чтобы восторгаться, он же, негодник, целится как бы снова в «него», в меня, то есть, вцепиться?

– Ладно, – думаю, – духом крепок ты, смел, и долг свой сыновий – в служебном порядке выполняешь. Как не уважать:

– Иди, – говорю, – гуляй...

Пока говорил и не заметил, как дыхнул на него, и исчез муравьишко в траве. Не стало – «упорхнул», но в памяти крепко моей засела отвага и справедливость его... Поэтому и решился рассказать о встрече в моем подворье с ним, никому не известным, но отважным героем.

А таких, как он, история не забывает.

Маэстро музыки цветов

Мир вокруг нас настолько богат и такой красочный, что казалось всегда, даже уверен я в этом был, что все цвета и краски, какие есть, звучат по-своему, только мы не способны в силу своей природы, их слышать. А звучание красок и есть Великая Космическая музыка. В

ней, вероятно, есть что-то такое особенное, что слышать способно только сердце и вовсе не уши.

И вот однажды для себя сделал я настоящее открытие: услышал музыку цветов! Что и говорить, явление, естественно, удивительное для всего музыкального мира. И с этим чудом столкнулся ни в театре, не в лесах и степях. А здесь – на своём подворье.

Утром, когда каждая травинка ещё дышала свежестью отступившей ночной прохлады, когда еще полыхали росой речные луга и косогоры, решил я заняться огородной прозой – картофельный участок нежно было прополоть, окучить, подрыхлить. Раз решил, значит, к делу и приступил по холодку. Работаю, не помышляю, не думаю ни о чем важном, но вдруг где-то в глубине самого себя слышу чудную симфонию! Музицировал словно большой, божественный ансамбль.

Остановился, и еще более внимательно прислушался, а сам думаю: «Не болезнь ли какая – музыка у меня в голове? Хутор весь еще спит, а у меня, видите ли, в голове черти что?» Но, нет, оказывается, на самом деле – музыка. И чувствую, что легко и радостно на душе становится, свободно и просто: «Откуда она? Мне б картошку обрабатывать, а я тут встал среди молодых яблонь и осин, кедров, березок, рябинок, посаженных мной, и луговых трав у забора, стою и слушаю неизвестно что... Дознаюсь, откуда взялись музыка и музыканты!»

Подошёл на всякий случай к ромашкам. Их так много вокруг, цветущих и благоухающих, что музыки секрет тут же раскрылся: пел, оказывается их стройный и нежный хор. И каждый цветок – будто в хрустальный бубенец названивал. Сбоку, рядом кто-то басит, поскрипывает, притоптывает, прихлопывает... Но уже целый скрипичный оркестр водопадом с высоты утреннего неба прямо на меня пролился. Слышу, и сам себе не верю? Не может быть такого!

Но все оказалось куда проще: нежные мелодии, оказывается, выводили васильки, чьи россыпи голубели по всему подворью. В литавры били широкими листьями репейники, далеким там-тамом гудел и ухал дягиль; в замечательный, незримый оркестр вплетались, кстати и не кстати, чьи-то посвисты – никогда бы не подумал, что на такое способен дурнишник. Ну, а когда услышал прелестные напевы флейты, – догадался, это открывшиеся цветки распрекраснейшей хатмы.

На сыром лугу, сразу за подворьем, полно было орхидей, лабазников, незабудок, кровохлебок, мятликов, разных осок и, конечно, не передать какой это был замечательный ансамбль цветущего разнотравья. Утренний воздух в тот день полнился Великой, Мировой музыкой.

И я понял: музыку цветов гор и степей, лугов и садов сердцем слышит каждый из нас, восторгается ими, но, слышит-то, слышит, да не знает откуда она? Кто музыкант, кто напевает и кто здесь маэстро??? А все потому, что поёт-то хрупкое и чуткое наше сердце.

Тем временем, чудесные симфонии звучали со всех сторон, переливались в лирические, нежные мелодии; звучали едва слышные грустные напевы, звучали и низкие аккорды и даже – ритмические шлягеры... Цветущее разнотравья, деревья, кусты рождали то тёплую, то грустную, нежную, сочную, земную и космическую музыку...

Да и чему удивляться было, если столько цветов, столько нежности и красоты вокруг, и все они пели на разные голоса и хором. Естественно, на подворье я уже попривык к роскоши цветов и звуков разных. А теперь, чтобы доказать поющим цветам, что я тоже не пень и ни глухмень кокой-то с деревяшкой, бултыхающейся вместо сердца, а тоже слышу и разделяю божественное искусство.

Чтобы доказать это, дирижировал, как мог, конечно, видел же, как делают это маэстро. Стал взмахами рук,

мимикой и другими движениями управлять музыкантами в моем подворье. Это так интересно было, захватывающе: я дирижировал – пели луга, деревья, травы...

Казалось, звучали в это время небеса, всхлипывали растроганные надо мной облака, и приплясывала у колодца сухорукая черёмуха. Только вот журавль, пуще прежнего, печально нос опустил в колодец. Только он почему-то один тосковал.

Казалось, ещё мгновение и взлетит мой деревянный журавль, да и сам я, того и гляди, на крыльях взвьюсь и умчусь в благодатные дали, растворюсь в божественных звуках... Не знаю, не помню, сколько провел времени, стоя среди подворья, управляя волшебной симфонией.

Однако, чувствую, – подламывает в плечах, руки деревенеют... Остановился, и вздохнулось легко.



Оказывается, всё это время сам дирижировал и не просто руками, а тяпкой, лопатой, с которыми шёл к огороду. Вот так, оказывается, стать можно великим маэстро, когда над тобой высокое небо, цветы и деревья вокруг и, конечно, их чистая несравненная музыка! Когда в груди твоей – не спящее сердце.

Всё только для меня

Одиночество особое состояние, когда один ты среди природы. В такое время всё, о чем может мечтать человек, заключается в тебе самом: простор и свобода, покой... Особенно приятно, если не оставляет желание присматриваться и прислушиваться к тайнам, которые поджидают на каждом шагу.

Вышел в тот день я за околицу подворья: степи, луга, заросли у реки зелеными лентами тополей, берез и черемухи... И вокруг, что называется, ни души. С разных сторон голубыми, синими, желтыми глазами глядели на меня цветы, да ветерки налетали с разных сторон; над головой поющим жаворонком небо звенело. И пело оно для меня; нашептывали травы о чем-то мне, и только на меня облака с высоты смотрели. Если на то пошло – вся планета в это время принадлежала одному мне. И всё вокруг создано было только для меня. Даже Солнце в это время одному мне светило. Все они и я – старые друзья. И поэтому так светло на душе было, так спокойно, лучше и не бывает. И понял я, что поэтому стремимся мы хоть какое-то время остаться один на один с природой и насладиться сполна этим прекрасным миром, созданным для каждого из нас.



Сыновья тебе «благодарность»

Трудно почему-то признаться нам в любви к Земле – Матери. Все знаем, что она- Мать наша - род людской

сотворила? Она свет ловит солнца и нас согревает; поит родниками, нежно оглаживает тенями облаков, освежает



ветрами; это она пугает маленьких ночами, чтобы спать ложились. Она все нам и пищу, и развлечения; учит мудрыми, да здоровыми быть; закаляет, порой, непогодой, горем испытывает, счастьем одаривает; она и наказывает нас за не послушание, но делает это для того, чтобы

жизнь твоя и моя продолжалась. И это все – Земля наша!

А мы!? Мы боремся и сражаемся с ней откровенно; костерим её, на чем свет стоит, за неудобства всякие:

– Не дураки ли дети твои, Земля?

И радостно, и тревожно...

На старице у речки, скрытой тальником и рогозом, объявилась семейка утиная. С весны утки летали здесь парами; селезни с сине-зелеными шейками, зеркалами на крыльях, красовались, как могли, перед утихами, до обидного – скромными серыми. Но, когда они сели на гнезда, – кавалеры их, как обычно, исчезли.

Ситуация знакомая. Что поделаешь, не нами придумано. И вот теперь мамаша с оравой из восьми плоскоклювых пушистиков, – спующих и энергичных, плавают по старице.

Несмотря на разброд и подвижность семейки, детки-то у них послушные очень: крякнет слегка им что-то мамаша: опасность мол, и как дождь они – в рассыпную, исчезнут в мгновенье. Сама же, скрывшись за ветвями, умело в такие моменты исчезает за островками рогоза

или крутится на месте и поглядывает из зарослей: «Не ушел ли?»

Но каково было удивление мое, когда сосед между делом говорит, что постоянно подкармливает семейку почти из рук. Не поверил. Но правда все: вышли мы с ним к старице. Он и позвал их, по-домашнему: «Уть-уть-уть...» И семейство, как из-под воды – вот оно! Сначала настороженно оглядели меня, а потом робко приблизились к берегу. Бросает сосед хлеб; хватают утятки его, полощут в воде и жадно глотают. Красиво, но очень тревожно: доверились они человеку с раннего детства и первыми попадут под выстрел, как только охоту откроют.

Однажды сам вышел к берегу. Увидели – и ко мне. На всякий случай позвал их тоже. Птенцы были уже большие, от взрослых мало, чем отличимые. Бросаю крошки им: смело подбирают, доверяясь моей «доброте». Покормил, а на душе еще тревожнее стало: «Перестреляют ведь».



Так и случилось, как в воду смотрел: вскоре на рассвете слышались выстрелы. И приплыли к берегу,

завидев меня, уже только три. Ждут, не угощу ли? А что делать – нарушен запрет к недоверию их к человеку. Стал угощать, не то подумают – скупердй отчаянный. А из-за соседнего хутора тетка мне через забор: «Кормишь, давай, давай... Вчера сама постреляла, вкусные утки твои!»

Прошла зима и следующей весной на этой старице уже никого: ни утихи, ни селезня.

Так вот, по воле обстоятельств, оказался и сам я причастным к преступному разгулу охотников.

Между водой и небом

В кроне старого тополя слышался тоненький звук: «Циии-цiiiи,» – будто тянет кто-то пронизанную солнцем паутинку. Всматриваюсь в гущу ветвей тополя, склонившего ветки до самой воды тихой протоки, и – ничего. В этот полуденный час стояла такая тишина – в ушах покалывало: живое все куда-то подевалось, притаилось. На дне протоки далеко-далеко облака плывут и гаснут в тенистых деревьях. И опять ни единой души, лишь время от времени бабочки пролетают. Но слышу – над мной пропорхнул кто-то чуть больше и тяжелее бабочки и тут же исчез среди нависающих над водой ветвей. Бабочка ли? Притаился и я. И опять вдруг слышу: «Циии-цiiiи...» И снова бабочка мимо уха, но в другую уже сторону.



Тайна пролетающей бабочки вдохновила: затаился, сижу и, как кот глазами по сторонам, даже, кажется, ушами зашевелил, чего раньше не делал. И снова этот таинственный звук, и тянется он следом за таинственной бабочкой. И вот – удача! Оказывается эта бабочка не

бабочка вовсе, а крошечная пичужка выпорхнула из шаровидного домика, подвешенного на конец ветки над самой водой. Дом-гнездо на рукавичку с недовязанным большим пальцем походит. И как так, вроде бы птиц неплохо знаю, а тут опростоволосился. Но что поделаешь, если синица-ремез – самая маленькая из всех наших пернатых. И попробуй – разгляди ее в тополиных ветвях. А гнездо ее, тоже не гнездо, а рукотворное произведение мастера по вязанию. Поднимется буря, переживаю, не сорвет ли гнездышко, подвязанное к концу тонкой ветки. Но, нет: оно, как мягкая люлька, крепко-накрепко привязанная, раскачивалась из стороны в сторону.

Каждое утро приходил на протоку и наблюдал, как птенцы вылетали; как первое время родители их опекали: насекомых приносили, а потом кормили личинками, которых ловко вытаскивали из семян полевого осота. Длинным, летним днем дел у натуралиста хватает. Но все равно, пока обойдешь всех друзей и приятелей, знакомых и незнакомых, что-то подсмотришь, что-то подслушаешь, – и день уж к вечеру клонится.

Не заметил, как середина августа наступила, и в один из дней разом семья ремезов вдруг исчезла. И только по-прежнему – между водой и небом осталось висеть гнездышко их.

Лист осенний уже полетел; оголились деревья, а гнездо, одинокое и печальное, висит осиротевшее. Но, чем становилось холоднее, чаще навещали люльку большие синицы и беспощадно, каждый раз ее теребили и рвали. Прятались, вероятно, насекомые там. А перед тем, как установиться снегам, от аккуратного домика, как говорится, остались рожки, да ножки: клочки пуха и шерсти на ветке, как на облезлой овце.

Ломать, же не строить...

Зимородок

*«Зимородок над рекою
в тростниках завис,
каплей голубую
падает он вниз...»*



Это четверостишие об удивительно красивом рыболове сочинил я в школьные годы. А тут, над протокой, с тонким, пронзительным посвистом: «Ци-ци-ции» – молнией рассекая сумрак береговых рощ, воды крыльями едва не касаясь, проносится сияющий сине-голубой сапфир....

Около берега сухая ветка из воды торчит. Приглянулась она зимородку: прилетит, как всегда неожиданно, с тонким, как нить паутиная, писком. Молча сядет на ветку и замрет, затаится, как настоящий рыбак, забросивший удочку; такой же ко всему глухой и также сутулится. По сути, он и есть потомственный рыбак; предки его с незапамятных времен рыбалют, людей на планете еще никаких не было, а они рыбачили отчаянно. Вот с тех самых времен...

Сидит сине-зеленый, длинноносый: клюв его – само удилице, зоркие глаза – приманка на крючке и, конечно, – терпение особенное. Вдруг качнет хвостом-коротышкой, маякнет головой – вверх-вниз, словно с кем-то согласуя дальнейшее. Но это, оказывается, – сам с собой. И скажет про себя: «Пора!» – и – плюх в воду. Моргнуть не успеешь, а он рыбешку в клюве держит уже и спешно заглатывает.

Красив этот маленький хищник. Такому простить все можно. В Индии живет другой, более еще яркий зимородок, с перьями, сверкающими, как игрушка елочная, но тот крупнее, называется – альциона. Он тоже рыбак, а еще и разбойник из разбойников! Ящериц,

мышей, птенцов мелких птиц ловит... Такого и возненавидеть можно: «людоед!» настоящий. Но, красоты и сияния, как у него, – больше бывает! Только взгляд на эту красоту многого стоит. И, конечно, все к нему претензии угасают.

Вот и сейчас, вспоминаю об обыкновенном, нашем зимородке, а тот, гад, перед глазами: то сидит, то мелькнет сияющий, такой яркий, которому тоже за красоту все прощается.

Красота его и спасает...

Трагедия Солнца

Не поверил бы никому, что вечный источник тепла и света – Солнце, сгореть может за одно только лето. Быть такого, казалось, не может, но все на моих глазах происходило именно так: лето напролет, с утра и до ночи, золотой птицей парило оно над землей; зоревыми и закатными лучами раскрашивало рассветное и вечернее небо; поджигало розовым туманы в долинах и росы на утренних травах. С облачных высот с дождями стекал свет его, сияя в радугах семицветных... Да разве можно назвать все явления, с ним связанные? И надо ли говорить о зелени лесов и лугов, пьющих его?



В его свете искрились реки, озёра; играло оно со снегами на горных вершинах; просачивалось в сумрачные своды лесов... Всюду оно беспечно растрачивалось. И вот, с наступлением осени, совсем

истошилось: малым кругом обходит небесные дали, раньше, чем прежде, скрывается за вершинами горных хребтов. Усталость его всюду, во всем: поугасли радуги над присмирившими речками и ручьями; падают листья в лесах: пошли затяжные дожди; туманы совсем поседели...

А недавно совсем, кто как умел и как мог, без стеснения растаскивали, разносили по пылинке, частичке свет его; черпали и пили сияние неба, как воду. И так изо дня в день – по капельке, по зёрнышку, по ломтику и по дольке: ели, пили, клевали, несли свет его – кому куда вздумается. Но все когда-то кончается, и растранижилась сила его; клубок из горячего золота размотан по ниточке.

Праздника нет: загрустила природа. Но все еще в оголенном лесу паутинка – светла и искриста. И сейчас пьет она силы беспечного солнца, жадно и беззастенчиво. Слабеет оно на глазах. Посохом, чтобы спасти, защитить его, обрываю нить паутины. Между осин прохожу и берёз, мимо кедров и елей; я вижу все паутины, горящие в солнце, и безжалостно рву их. Больно видеть, как озябшие комарики, мушки капли последние Солнца на крыльях уносят в стужу осеннюю, не осознавая драмы наступающих холодов. Вид только делаю, будто не вижу, что происходит. Однако, грустно, так грустно, когда гаснет щедрость его в преддверии близкой зимы.

Шум и скандал великий

Кто подумать бы мог, что какой-то маленький, простенький одуванчик, смелости однажды набравшись, открылся в тени у забора, заиграл, засветился среди мрачных и скучных трав призаборных. И мне б не

увидеть его, не зная, что вспыхну: такой он яркий и солнечный, если бы не шум и не скандал на подворье моем.

Послушал и сам пошел к Призаборью:

– Ты кто такой? – Говорил внушительно кто-то, строго и важно. А снизу ему тоненьким колокольчиком, голосок одуванчика: «А Вы кто? Почему вы возмущаетесь, простите...»

– Ха! Вы посмотрите: он не знает, кто я? Здесь все знают – я главный на этом паршивом подворье, а этот пигмей не ведаёт о звании моем и величестве, – и слышу, как гордо и важно звучит:

– Болиголов я! Все здесь в моём подчинении...

– Нет, подумайте, только – этот самый, неизвестно откуда взявшийся выскочка, вместо того, чтобы молчать, вопросы мне задает! – Мягко, но сердито прошипела красавица-хатма и, оскорбившись от волнения, затрепетала, обмахиваясь сиреневыми лепестками:

– Не хватало еще, чтобы этот мальчик с пальчик у меня – призаборной дамы, спрашивал, кто здесь я?..



Здесь каждая кочка знает меня, и знают все – Болиголов – мой благодетель, супруг, извините! Естественно, подворьем мы управляем.

– Может, ты спросишь, кто я здесь такой? – Глядя на перепуганного одуванчика сверху и потирая его широкими листьями, громыхал широколапый репей.

– А Вы?

– Я?! Ха-ха-ха! – От всей души снова смеялся репей, – я первый заместитель его Высочества! – показал он на Болигорова, который тем временем в гневе исторгал по всему подворью отвратительный дух.

– Эй, ты, желтопузик просветлённый! Чего ты под ногами мельтешишь, да еще и светишься? Не видишь – живём здесь и правим мраком нашей вотчины только мы! А ты? – Говорил взъерошенный, как еж, колючий дурнишник. Он стоял в зеленом кафтане, как в пуговицах весь в пузатых, похожих на сытых клещей, – колючках, – он сном духом не знает, что я тоже при главном здесь у господина Болиглова. И кто, если не я, первый ему на кого-нибудь нашепчу. И сейчас вперед всех ему о тебе известил – я. Если бы не я, так тебя никто б не заметил. Дурнишник зло ткнул одуванчику в глаз рогатой колючкой.

– Что Вы делаете? – заплакал одуванчик, – я ведь, наоборот, старался, чтобы светлее и радостнее, а ...

– Да он просто нахал! – Змеёй прошипела жгучая крапива, – не хватало, чтобы и я, при свято-мрачном Болиголове, хранящая уют мрака и сырости, распиналась перед этим ничтожеством!

– Может, он ещё и меня спросит, почему я всех переплел и повязал плетьюми, как речами сладкими, – глухо и утробно прошептал хмель, особенно недовольный солнечным цветком одуванчика.

Странно, что на него, такого светлого, чистого, маленького и весёлого, обрушились столь злобные обитатели запущенного Призаборья. От них давно уже несло плесенью, но все они были здесь сытые и важные;

все самоуверенные очень и не меньше – гневливые. Потому они так дружно и набросились на одуванчик с лицом – озорства и светлой улыбки, способного радоваться каждому дню и часу в короткой своей жизни.

Одуванчик понял, что никому он не нужен, и правды от обывателей страны Призаборья – никакой. Тихо всхлипывая, он закрылся и в Призаборье, как прежде, вернулись тишина и мрак. Как ни странно, все успокоилось, и как прежде, занимался каждый своим делом, стараясь поближе оказаться к Болиголову.

Лето, как всегда, пролетело быстро, почти незаметно. Под небом стояла осень. Пожелтели и поусохли травы; полегли все и стали невзрачными, некрасивыми... После первых заморозков лопнул набухший влагой стебель Болиголова и обвисла «царственная» его голова. Ощетинился порыжевшими колючками репей: вместо листьев на нем – потрепанные ветрами, лохмотья. И он, как один из высокопоставленных чинов Призаборья, походил теперь на роскошное пугало. Сникшая крапива покрылась тоже обветшалыми листьями. Не пощадило время и красавицу-хатму: облысела, оголилась и ничего в ней от прошлого... Даже самоуверенный дурнишник, как говорится, – десятая спица в колеснице среди обитателей, подхалим и приспособленец, сжался и превратился в комок пузатых колючек; дождавшись коровы, они тут же прилипли к хвосту ее рыжему.

– Чего мусор у забора оставлять. Весной вырастут свежие травы. Всему своё время! – С этими мыслями, взяв косу, я и направился в страну Призаборья. Взмахнул раз-другой ею, и вдруг лучик света по глазам мне. Это он был, тот самый одуванчик. Он снова набрался смелости и, наперекор осени, открыл последний бутон свой и теперь светился, как солнышко ранней весной. Посмотрел на него, и стало мне светлей на душе. Кто знает, но, помню, что в день тот небо осеннее светлее стало, и далеко-далеко слышно было, как курлыкала углом летящая журавлиная стая, уносящая на крыльях

это красное лето. А из глухого Призаборья, открывшись, на меня смотрел весело и смело солнечный одуванчик. С его появлением в поутихшем подворье света тоже прибавилось. Он один – золотой одуванчик радовал всех памятью ушедшего лета.

Ближе к вечеру из-за гор появились несущие снег тяжеловесные тучи. Говорило все за то, что вот-вот начнётся буря:

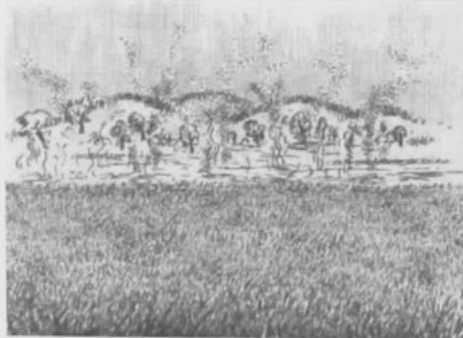
– Замерзнет под снегом. Жалко...

Сорвал одуванчик и поставил в стакан с родниковой водой; в избе моей сразу стало светлее.

Всем на зло

Осот полевой любит солнце так же, как и степь паханую, а еще любит появляться там, где не ждут его, где он гость не желательный. Веками с ним воюет пахарь за каждый клочок земли крестьянской, бьется как с

оккупантом, а поделать за века прошедшие ничего не смог. К удивлению моему неистребимое растение встретилось однажды даже в лесу, среди папоротников, борщевиков, осин да берёз. Где-где, а здесь никак не ожидалось. Заметить не трудно



было: пока рос, всех соседей локтями расталкивал и был ко всем беспощадный: солнце закрывал другим, чтобы ослепли, тенью захлебнулись. Если кто из лесных трав оказывается с ним рядом, осот умеет зло кусаться и колотиться. Но здесь в лесу, хотя он и победитель, но стоит,

как прикованный да неприкаянный. Чужой народ вокруг него, но сила жизни в нем велика: осот не только живет здесь, он еще и цветет. И не просто, а назло всем цветет, — обычная черта его характера. Непокорный и агрессивный, не растение, а черт какой-то.

Так и прошло лето его среди чуждых ему трав и деревьев; отцвёл и запушил, как обычно, уже в августе запушил семенами, сидящими на невесомых парашютиках. Щедрость здесь он особую проявил: тысячи десантников-парашютистов — семян его — летали теперь среди берез и осин, оседали на мхи сырые, на папоротники, а некоторые над лесом поднялись, и унес их ветерок в далекое и неведомое. Таков вот характер осота — щедр на зло он. И так тысячелетиями дерется со всеми до полной победы, во имя гибели тех, кто оказался с ним рядом. Покорив степи, пашни, поля и луга, теперь леса завоевывает.

Зло и дерзость его, помогают выжить, а добро пусть еще подождет.

Осень у подворья уже

Под небом еще августовское лето. Мух и бабочек полным-полно; комары беспощадны, жалят все и кусают по-летнему; весела и игрива в речке вода. Но поселились под небом сытость во всем и какая-то лень. Они слышны в звуках и шорохах. Словом, всюду — в жужжании мух и жуков, у птиц в голосах. Полощут в зелёной воде тихой протоки ветви свои тальники; паровозом гудит, надрывается муха, застрявшая в путине. Где-то у речки, в



густых тальниках, послышалась песенка. Тихо и вкрадчиво она прозвучала. Всем-всем самой первой из всех об окончании лета заявила зеленая пеночки. В витиеватой трели ее, не летние нотки, а тревога и легкая грусть. Так и есть — ее лето в наших широтах закончилось, и она собралась на восток — к берегам Великого океана. И полетит сначала к востоку с уклоном на юг, в Индокитай потом повернет. А дальше совсем интересно: от острова к острову по всей Полинезии. Так права она — осень для нее уже наступила. Потому и пустилась малая, хрупкая за тысячи вёрст, чтоб пораньше: в нужное время достигнуть Зондских экзотических островов, где проведет припеваючи зиму.

Но ближе к весне, в далеком тропическом лете, когда морозы февральские нас обжигают, метели и снежные бури гуляют у нас, а она и там первой всем-всем заявит: «Зиме конец, я улетаю домой!» Зима, какая зима, там и слухом не слыхивали про зиму, а она заявила всем, как отрезала, и полетела, конечно, все так же грустно посвистывая. Будет путь ее снова опасным, чтобы в майскую пору появится у этой же самой протоки, где подворье мое, где на свет она появилась.

Каждый год, в знойные августовские дни со скрытой тревогой ловлю ее грустные посвисты, в которых органом звучит реквием ушедшему лету. Есть смысл прислушаться к ней: еще одно лето прошло в нашей жизни... Нет, не замечаем и замечать не хотим грядущих перемен, забывая, что мы еще с одним летом прощаемся навсегда. А их, лет-то этих, к сожалению, не так уж и много отпущено.

Палит августовское солнце; кипит во всю и бурлит жизнь на подворье моем. И ко всем чертям надо бы шугнуть эту пеночку с грустным напевом, но, действительно, лето-то кончилось. И первой об этом сказала она. Теперь жди только, как в красках осенних сгорать будут скоро деревья и травы.

На свиданье с осенью

Днем осенним собрался и пошел в лес за подворье, околицей на свиданье с осенью. Как только в лес углубился сразу к березке, первой попавшейся мне, подошел, а она на глазах затрепетала вдруг вся, побледнела... Рябинку встретил и тоже – к ней... Меня завидев, от макушки до пят самых, как говориться, вся покраснела.

Старая, кривая и сухорукая черемуха и та вдруг, устыдившись словно, взялась до макушки вся бордовыми, оранжевыми красками. И всюду такое: зоревым, алым светом зарделась осина; вижу, волнуется – листком каждым дрожит. У речки калина своим отражением любовалась и, увидев меня, растерялась, пошла вся пятнами алыми, красными...

Такая вот осень-то – стыдливая, когда с первыми холодами.



Красное – желтое...

Лето отзвенело, закатилось красное. Низкой, осенней тропею пошло по небу «поостывшее» солнце. Скупно заскользят лучи его по неубранным пшеничным полям. Над подворьем всё чаще кружили несущие росы

туманы, по утрам обеляя инеем убитые холодами покосы. Так о себе заявляет алтайская осень. Поблекло серебро листьев белого тополя, что у колодца. Разноцветными стали листья осин. В травах, на оголенных ветвях, на заборах и крышах светятся обрывки паутины летучей. Всюду грусть поселилась, свежесть особая и тишина. Станешь вслушиваться – тихо все, и ничего, кроме ударов сердца собственного.

Но вот – дыхнул ветерок, и сразу же затрепетали, забились на ветках осин разноцветные листья; послышался ропот спящей листвы и вскоре же перешел в водопадный – шумок начавшегося листопада. Но также внезапно стихло все, и прежнее безмолвие снова воцарилось под небом.

С крыльца своего слушаю тишину и шорохи осени, по секундам считаю осин облетающих золото. Ветерка, как и не было, они, растревоженные, ропщут, никак не успокоятся. И вдруг слышу негромкий перестук: «Тук-тик-так-тук...» – Конечно, решаю, что это он – дятел малый пожаловал в мой сад-огород...

Крадусь вдоль стенки сарая на стук. Из-за угла изучаю осин просветлевшие кроны. Никого! Но, слышу же, кто-то стучит... Зная воровитость синиц вездесущих, предполагаю, – может, она долбает где-то украденное подсолнуха семя. Однако, ни дятла и ни синицы, а стук-то все не стихает. И тут только у вершины осины

вспыхнуло что-то: то красное, то жёлтое, и снова – красное, жёлтое:

– Бабочка в паутине запуталась?! Но, нет и нет...

Подождал еще, пригляделся: замечаю, как отдельные листочки на той же осине, вдруг ни с того, ни с сего, в



полной тишине и покое, отчаянно принимались трепетать, постукивая цветными боками по уже огрубелым веткам. Отстучал один и следом забился другой: закачался, заговорил языком морзянки. А ему уж другой отвечает. Бродят и колдуют, словно в пылающих кронах невидимки осенние, переговариваются стуком огрубелых листьев. Вот так, оказывается, осины общаются в тишине осени. О чем они? О погоде, о зиме, о лете, а может, и обо мне?

Вижу, как сорвался один из листьев, неуклюже закувыркался, мелькая красными и желтыми боками, и гулко шлепнулся на крышу сарая. А следом уж другой... Но не долетел до земли и повис, запутавшись в паутине, закружился, как живой, завертелся, играя цветными боками.

Тайны осин завораживали: волшебство осени продолжалось бы ещё, если б где-то далеко в небе не позвучал полный скорби и отчаяния крик: «Кияю-кияю...» – тень крупной птицы скользнула по крышам сараев и исчезла за старым забором, где-то в приречных зарослях с рыжими стожками. И вот уже под самым солнцем, круг описывая за кругом, на распластанных крыльях медленно плыл обыкновенный канюк. Хищник прощался с горами синими, далями светлыми, с полями и, наверное, с подворьем моим.

Как капли росы, одна за другой, таяли минуты тревожных ожиданий зимы. И снова в голубой тишине – слышались осенние перестуки, и снова: желтое – красное, красное – желтое...

Всё в ожидании

С приближением осенних холодов просыпается в нас что-то не объяснимое, неуловимое – светлое, грустное. Веками, летом в наших краях, дождей ожидают травы. И

не зря ждут, природа мудра: рано или поздно, будут дожди, иначе и быть не может. Наконец-то, в выжженном солнцем небе. И вот мрачнеет на глазах небо, и день, и другой – сплошное ненастье. Дождь не перестает. Воздух насыщен влагой так, что дыхнешь даже в холод – парок дымится.

Уплывают тучи молча, дружно, веселеет и небо. Капли стряхивают с листьев травы, деревья; стоят умытые, помолодевшие. Но ближе к осени дружно все созревает; разом рыжеют, краснеют, желтеют поля, леса и луга... Все травы поклоняясь, как единому богу, молитвенно клонятся, обремененные спелостью зерен, кистей и колосьев...



Навострив ржавые крючья корзины с семенами, репей у дороги – к кому б прицепиться? Череда – у тропы, на лужайке; дурнишник – к кому б приколоться?

Светлокудрый, душа лесосеки, ждет ветерка Иван-чай. Он дождется и пустит шелковистые

кудри с летучими семенами. Рослый и наглый, в шерстистой папахе осот – то же самое – в ожидании ветра; с челкой пушистой неказистая ястребинка, отяжелев от семян, притаилась, поджидает кого-то. Оказывается, все: кто ветерка, кто зверя ждут, сгодится и человек. Они знают: кто-нибудь или что-нибудь объявится и понесет семена их по лесам, по долам...

У речки калина в рубиновых ягодах ждет снегирей, свиристелей...

По межам на полях полынь пахучая скоро встретит урагусов – розовых и длиннохвостых. У рябины свидание будет с дроздами, у березы – с чижками, чечётками. И все-все находятся в ожидании. С новым днем все ярче осины. От ветров бесстыдно их раздевающих, краснеют они и

бледнеют. А ветры шальные, по осени сдирают с них листья днями, ночами и бросают к ногам их цветные одежды. Долго зелеными простоят только ивы у речки; и будут с ветвей их падать в воду узкие листья. И вода унесет их в далекую неизвестность.

Обнажена до нага черёмуха, оголилась береза... Полураздетые клены и тополя. Они тоже на студеных ветрах, стоят и зябнут, как в холодном предбанке предстоящей зимы.

Голубая музыка осени

Каждый цветок голотелы к этому времени испил уже грусти сентябрьской ночи. Растение это в наших садах, огородах, знают как сентябринку. Назвали за то, что зацветает после первых сентябрьских заморозков в сентябре, когда другие цветы уже чахнут от холода, а она расцветает. Каждый куст ее усыпан голубыми цветками настолько, что и места свободного нет.



Среди лепестков ее венчиков – кружок желтых тычинок с темным зрачком сердцевины. Цветков на каждом кусту больше, чем ночью сентябрьской на небе звезд. И каждый из них оседлал музыкантик. Так на Алтае называют мохнатых, и крупных как пчелы тахин – мух-опылителей.

Голотелы росли в стороне от забора. Подошел и люблюсь, как нектар поглощают тахины. Но тень от меня, по-случайности, заслонила куст ими усыпанный. И надо видеть было, как возмутились они; разом

поднялись, зароились и послышалась музыка тысячи крыльев, как реквием по ушедшему лету. Крылатых музыкантов слушала голотела, я сам наслаждался мелодией осени. Отошел и отвел тень от куста, вернув солнце цветам. В мгновение ока, как одна, опустились растревоженные тенью мохнатые летуны. И с жадностью продолжали кормиться. В это время, как казалось, они не видели и не слышали никого, хоть в руки бери, однако, тени боялись, как ястреба воробьи. Пили с жадностью и наслаждением они нектар голотелы, перелетая с цветка на цветок, и все это время их крылья рождали музыку осени, какую в дни эти нигде уже не услышишь.

Вслушиваясь в тишину

Я в плену тишины. Играют краски на листьях березы, осины. Пообмелел колодец. Ни единой морщинки в моем пруду, только внизу в немыслимой глубине опрокинутого неба плывут облака. По-прежнему, – ни шума, ни шороха: оглушительная стоит тишина. В обстановке такой обостряются чувства: слух напрягается, по телу – томящее напряжение... Кто поверит мне, но услышал я, как вздохнула осина, загудела и лопнула натянутая меж ветвей паутина. Вижу, как лист краснобокий нарезает круги, кувыркаясь, и как веслом по воде – шлеп! Разбил водную гладь: закачались в ней облака; без шума и треска ломались в воде березы, осины и гор далеких вершины дрожали и прогибались... И тишина опять первозданная. Но что это? Кровь в ушах, слышу, шумит; в груди загудело, а сердце стучит мое так, что можно оглохнуть: «Так-тук-так-так-тик-та...» – «Стенокардия!» – Пугливая мысль. И снова сердце: «Так-така-так, така-так...» – будто кто-то в груди



краковяк или польку отплясывает и громко стучит каблуками.

– Никак, ишемия? Дистония!? Мало ли что? – Лучше б не слышать.

Тяжелы и тревожны мои мысли. Ничего понять не могу. Но чувствую, как сердце ликует, потому и стучит, и рвется из груди моей:

– Что же такое случилось, что происходит?!

Не сразу, конечно, но понял: виноваты прощальные краски, звуки таинственные, шорохи... Виновато небо высокое, которым люблю с порога старенького дома. Нет, не Разум, а Сердце, Сердце мне подсказало, оно услышало и увидело красоту этого дня, которую сам я, признаюсь, и не заметил. «Вот тебе и стенокардия! – Себе говорю, – тупица! И тогда вышел сам из себя я, и сердцу своему человеческому – «спасибо» сказал, да еще поклонился.

Октябрьским днем

Опустели рощи, полегли травы на всем подворье. Задумчивость облекло похолодевшее небо. Испив его, присмирели ручьи и речки, скелетами над ними встали раздетые тополя. Медово сочится уставшее солнце, блеском поджигая холодные, восковые ветки. Вчера, кажется, солнце стояло в зените, но сегодня – низко у линии горизонта скользит, и дни стали на много короче. Красиво и грозно: «листобоем» называли октябрь когда-то.

Вот и сейчас в октябрьский день, в сквозной тишине облетающих деревьев, дятлами переговариваются последние листья и, срываясь, они летят, натываясь на ветки, и с шорохом легким, прямо в жухлые травы. Все в состоянии забытья; в полусне небеса; собаки, побитые словно, молча на солнышке греются; избы, от дождей с потемневшими крышами, тоже грустят и смотрят, кажется, в самое сердце. Насладиться на пороге предзимья тишиной – состояние особое, когда вокруг все



в ожидании больших перемен. Было ли, не было ли – лето?

Быстро промчалось, незаметно минуло лето бабье. Осень вгоняет в тоску и, как ни странно, – в поэзию тоже. Но я не поэт, стихов не пишу, не моё – настрой поэтический, да еще тут мысли мои перебила встревоженная кем-то синица. Какая поэзия? Зачем перо и бумага, – есть просёлок и таинство шорохов, а еще и небо в светлой печали. Слов нет передать шум затяжного дождя или сильные голоса простуженных ветров. Кончилось лето и бабье – прошло. Покров на носу... Как в детстве, вдогонку уходящему солнцу хочется крикнуть: «Колесом дорога! Дорога к дороге!» Такими словами провожали его, чтобы, хоть на несколько дней, вернуть еще тепло. С рассветом сразу к окну: не выпал ли? С вечера небо дышало холодом и обещало снег, снега нет, но в ожидании. Дружно потянулось к югам крикливое воронье, а снега все нет.

Первый, как ведется, падает в тишине предрассветной. Еще одно утро: за окнами синеватый рассвет. К окну подошел: подворья моего не узнать – забелели крыши сараев, в белой папахе столб за калиткой, журавль колодезный в чепчике белом... Кусты и деревья у речки, степь за околицей изменились. В хмуром небе мужицкими голосами говорили стаи запоздавших гусей. Строгие крики их, опережая полет, оседали в белоснежных полях.

Обычного раньше затоплены печи; седыми грибами над избами встали дымы. Словно в дозоре, свесив полисьи длиннющие хвосты на заборах, застыли сороки; в окно застучали оголодавшие за ночь синицы...

После первых снегов Покрова: под небом зима – не зима, но осень уже за горами, вспоминай, какая была.

Под солнцем скупым

Нет, не сказка только сказывается скоро, как говорится, но быстрее еще в краях наших лето заканчивается. И в этот год уже у порога осень стояла, опалив красками тополя и по ветру пустив серебро паутин. Голосами пролетных зябликов и юрков огласились окрестности. Потянулись с полей в сторону гор стаи галок, грачей. С каждым утром и часом сильнее все в магический сон погружалась



природа. Солнце с восходом запаздывало. С неохотой взойдет, отбросит тени холодные от сараев моих и заплотов, от побледневших осин, от берез; иней слижет с полеглих осок на лугах, в каплях росы поиграет... И потом уж плывет над горами; на подворье косо поглядывает. Если облака набегут, небо им уступит без сожаления. В частые, серые дни и ненастье с охотой великой скрывается в заоблачных далях.

И только в полдень, бывает, что веселеет, прогревает слегка, зажигая цветистые рощи. И тогда, как кажется, на час или два, снова к нам лето вернулось. Но всё лишь до первого облака, до малого ветерка.

В час такой присел на бревно, что с лета лежит под самым окном. Оно подопревшее — отдыхать на нем тепло и приятно. Слушаю небо и птиц встревоженных временем: одни строго на юг, другие — на запад и туда тоже летят, где появляется солнце. Словно, знают они, что в той стороне находится страна вечного солнца.

Мое внимание привлек выглянувший из-за бревна, не облетевший цветок ромашки. Поднялся высоко — шейка изогнута, «голова» приопущена, тоже грустил. Но светилась по-летнему лучистая белизна его лепестков.

Хоть так, хоть эдак смотри и покрути – на солнце похож! Не зря цветы с солнцем сравнивают. И этот очень похож. Светится ему бы и красоваться, но не веселым он был.

Оказалось, не один я солнце в нем видел, обманулась и придворная ящерица – мама шоколадного семейства. Вылезла и она из-за бревна на лето взглянуть. Семейство все залегло по зимним квартирам: одна под бревном, другая в корнях у кустистого злака. Также и все остальные где-то скрываются.

Выползла ящерка, огляделась: травы вокруг пожелтели, небо поблекшее, солнце не греет. Но замечаю: головку скосив, смотрит вверх куда-то и вот – подползла под самый цветок, на солнце похожий. И доверилась: растянулась, как летом, раскинула лапки, прикрыла глаза, задремала, словно и правда – на подворье было лето еще, и солнце прямо над ней.

Но всё уже было обманчивым, даже солнце осеннее. Обманулась и ящерица.

Не обманулс я: цветок-то, и вправду, на солнце похож был.

Осенний свет

Стремительно сужался небесный круг у солнца. Всюду стойкая тишина: не слышно кукушек, журавли улетели; незаметно исчезла, ни с кем не прощаясь, серая славка; грустит без нее у колодца черемуха облетевшая. Забылся бой перепелок и скрежет коростеля. Покрылись ржавчиной словно дырявые листья трав призаборных: разморозило стебли



– дудки болиголова, морковника... Шароподобные соцветья дягиля-переростка стали сквозными, порыжели, и вместо цветков образовались монетки. Репейные шишки стали злыми, колючими – не подходи, обклеят, потом выдирай из одежды. Полынь Сиверса, рослая, вся в мелких корзинках на месте соцветий, прильнула к забору, сизой стеной стоит у сараев: «Пусть стоит, зимой снегирей длиннохвостых – урагусов угощать будет!»

А крапива? К забору теснится, как прежде – стоит у поленицы, прильнула к земле – не показать бы неряшливых листьев, дырявых, как решето: на макушках не цветы, а «маковые» семена – такие же темные, мелкие. Гордой была недотрогой, кусалась, было все нипочём, себя лишь любила. Но поумерилась, гнев и злость былая исчезла. Со снегами северяне – чечётки появятся, те знают толк в ее семенах... Подождём!

Конский щавель – с коричневым «колосом», с угластыми семенами- орешками. Пожуёшь их, и язык в узел завяжется, такие вот терпкие. Снегирей же устраивают они, и вполне. Я доволен, будет, чем зимних гостей покормить. В поле зрения снова черемуха: черная, как после пожара. На вершине сухой, как струны оборванные, светятся клочки паутины. Остались и ягоды на тонких кистях. Дроздов заждалась...

Знаю, что прилетят, наглопитаются их и в желудках своих разнесут и «посеют» там, где придется. Черемух косточки крепкие, у птиц желудки тоже, дай Боже – сильные. Подготовят к посадке... Пройдут годы, и на пролётных дорогах дроздов черёмуховые заросли встанут. У дубоносов вкусы другие: настоящие обожатели косточек, мякоть им не нужна. Толстыми, как у попугаев клювами, кромсают косточки, щелк только стоит. Черёмуха сама разбирается, кого ей и когда угощать...

Наступил тот день, и зима знать дала о себе: синицей оглодавшей постучалась в окно. С рассветом проснулся – полна изба света. Все понял: снял с печки и натянул

теплые валенки; их припас загодя, надел полушубок... На подворье снег, но тепло, даже весело: небо чистое, ослепляя искрился снежок. Устыдился, что поверил синице, нет еще зимы настоящей. А синица-обманщица крутится на черемухе, на крыльцо смотрит: «Что за чучело на крыльце стоит?» – Обо мне так подумала. Сама же крутится, вертится и туда, и сюда зыркает глазом острым и мне: «Же-же-же!» Понял, что не «же-же-же», а «ха-ха-ха». Обманула!

– Ладно, – думаю, – посмотрим, будешь передо мной юлить, как только холода нагрянут. Мне и придется тебя же кормить. Смейся, смейся... Мне-то что, жар, говорят, костей-то не ломит – буду в зимние холода греться у печки. Вот и посмотрим, кому будет веселее; кто над кем будет посмеиваться?

Хотя и тепло с первым снегом, птицы все беспокойством охвачены; носятся с визгом дрозды по черемушникам, все – чернозобые, да рябинники.

Прошли дни, и в морозистом воздухе защебетали чечётки, прилетевшие с Севера. Тогда и сомнения в сторону – пришла зима настоящая. Поставил на стол самовар: шумит, пыжится, светит боками. Всё как летом. Заварил травяного чая, пью и за окно все поглядываю. Кусты на речке по грудь завалило; репы в белых чепчиках, как один; дягиль – вот это, действительно, было смешно: не то, что я в шубе, этот бравый гусар, как француз в отступлении – повязался белым платком. Крыши сараев в белых пополах, под забором наметы – все изменилось...

Чай у меня ароматный, летними травами дышит: ромашкой, терпким листом смородины, белоснежным лабазником – с болота принес; лепестки шиповника плавают, и разными еще травами, цветами, плодами отдает. Торопиться мне некуда: подожду, когда прилетят на подворье урагусы, снегири, дубоносы, да свиристели; нападут они на калину и на рябину набросятся, что с лета их поджидает – рясная-то какая! Гроздьями вся увешана,

как невеста на выданье... И синица ту, как тут – и в окно мне: «Стук-так-дак,.. же-ж-зи-зерр-жек!» Прошло ее озорство, есть захотела. Пусть стучит, и не подумаю покормить. Но сжалился я, однако, и крикнул в форточку: «Покормлю, когда морозно совсем станет. А сейчас подождешь!»

Сижу у самовара, по избе аромат травяной растекается. Как в басне: я муравей, а синица, как стрекоза... Но вспомнил, как жалко было в школьные годы ту стрекозу, голодную, замерзающую. Крепко возненавидел тогда муравья – скупердяя. Вот и сейчас, если стучится бойкая птичка, – есть хочет или ей тоже запахи лета вдохнуть захотелось, как мне. Открыл форточку, крикнул: «Давай-ка, сюда, непоседа и прощелыга! Пошутил я! Голодно на дворе! Студено! Не сержусь, так что милости просим! Вдвоем куда веселее – будем лета ждать вместе».

Последний букет

Светлое лето отгородили убеленные снегам горные хребты. Стояла глубокая осень: рыжеволосые, горбатые копны, стожки разбрелись по лугам скошенным. Под небом отрылась еще одна страница большой книги – Природы. В пожелтевших травах бреду косогором. Кустик, травинка зеленая, как чудо воспринимается, как редкость большая. В травах полегших неожиданно замечаю похожий на звезду, упавшую с неба, одинокий цветок у цикория. Пристально и



задумчиво смотрел васильковым глазом в поостывшее небо. Еще недавно прошел бы мимо и внимания не обратил, а сейчас взгляд его магически действовал. Нерву цветов полевых для дома, жаль потому что. Сейчас же не устоял: завтра, послезавтра замерзнет... Наткнулся на нивяник, похожий на ромашку большую. Они давно облетели, окропив лепестками землю, непонятно, как уцелел этот, стоит одиноко, заметный. На нем бабочка с обтрепанным крыльями. От холода оцепенела, но лапками держалась крепко за ворс желтых тычинок. Смирилась уже умереть.

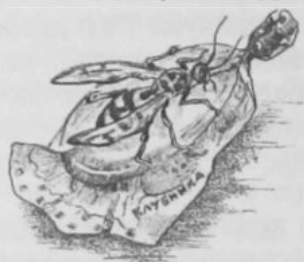
Среди лепестков и тычинок, как летом, с краю посеревшей осиновой рощицы желтым факелом догорает розга золотистая. Цветы перед снегом – явление редкое, трогательное. В руках у меня уже целый букет, три огрубевших, холодных, как проволока, стебелька. Последний осенний букет: три цветка – голубой, желтый и белый – память об ушедшем лете. Голубой – как летнее небо; как животворное солнце – желтый и белый нивяник с бабочкой, которая не хотела никак его оставлять.

Нехитрый букет дома поставил в стакан. Цветы повеселели, испив свежей, из колодца, воды. Вскоре же развернулись все к свету, где за окном проплывало уставшее солнце.

Усатые, полосатые...

И говорить бы не стоило об этих соседях по подворью, если бы... С первых дней тепла по весне, полноправными хозяевами повели себя здесь осы. В одном из сараев, под самой крышей в одном из темных углов они и поселились. Здесь они выстроили похожее на шляпку, сделанную словно из тонкой пересохшей бумаги, гнездо. Туда все лето они то и дело залетали,

садились на гнездо и, нервно шевеля узловатыми усиками, сначала обходили его по кругу, как по крыше, которая находилась у них, как бы вверх тормашками – внизу, а дом сам с сотами, личинками вверху. Оказывается, и так дома можно строить – головой низ, а



потом уж и заниматься делами своими. Про них в своих заботах я и думать забыл. Мало ли кто поселился в моем подворье... Но, когда приходилось идти в сарай, – вспоминал о них, как о соседях. Народе они крутоватый, смелый, дерзкий, ничто их не

остановит, за себя постоять умеют, если опасность почуют. Признаться, побаивался я их и, как говорить, старался лишний раз дорогу им не переходить. Не стоило б и вспоминать о них, если бы на глаза постоянно не попадались. Было и так: сяду за стол под навесом сарая чаю попить, мухи, понятно, тут, как тут. Нахальные! Лезут, куда глаза глядят. Сладкое, идиотки, любят. Вот тут-то осы и показывали на что способны: непонятно откуда, с разлету, с размаха залетают и соколом – бац по мухе, и та в лапах уже. Крутится бедная, «визжит» крыльями, но оса тут же находит удобное место, садится и, как кукурузный початок, раздевает ее: откусывает сначала крылья и пошло, а потом срывается и уносит в лапах жертву прожорливым личинкам в гнездо под крышей. Приходилось поэтому и с ними дружить.

Пожалуй, об этом бы тоже не следовало ничего говорить. Если, как вспоминаю, все знают, что осы прекрасные охотники за мухами. Но эти хищники также охотники и за сладким. Останется недоеденный на столе арбуз или дыня, они тут как тут – отгрызают кусочки и таскают их в лапках к деткам своим. Варенье малиновое любят. Во время его приготовления, позабыв об опасности, садятся они прямо на тазик, и приходится

вылавливать их ложкой и выплескивать вместе с вареньем. Из вазочки с медом тоже приходится спасать их – лезут прямо в нее напропалую... Вытащишь осу ложкой и в воду тепленькую, побултыхаешь в ней и на свет божий отпускаешь. Оказавшись на воле, бегают кругами, как спортсмен перед состязанием разминается, крыльями потрясывает, чтобы сохли скорее. Лето же, минута другая и всё: на дорожку почистит усики и пулей в небо.

И об этом тоже можно было бы не говорить, если бы не пришел зазимок и утрами после дождей, вперемежку со снегом, не устанавливалась ясная погода, но снежок таял уже только к обеду. И давно уже не стало насекомых, птицы многие тоже давно исчезли. Словом, опустело подворье, только громче, как казалось, слышались среди давно облетевших деревьев голоса синиц, голоса других перелетных птиц. С каждым разом выпавший за ночь снежок в тени сараев, у заборов и в густых зарослях репья, с горем пополам, но перележивал солнечные дни, не исчезал. А к ночи, как обычно, воздух раскалял морозец и оставшийся снежок веселел, черствел, и таять с этого времени уже и не думал. Про зазимок тоже можно было бы не писать если бы...

Однажды, когда внезапно задул холодный ветер, и небо зарыли свинцовые, снеговые тучи, вижу вдруг, как вдоль стены дома к приоткрытой слегка форточке, как слепая, тычась в стену, медленно, неуверенно подлетала оса. Ее появление в такое время – неожиданность большая. Признаюсь, увидев ее, обрадовался даже. Как ни как, а появился солнечный кусочек оставшихся позади летних, арбузных дней. Оса вдруг протиснулась в щель с форточкой и напрямиком к полке, на которой с самого лета лежала в цветистой обертке карамелька. Отодвинув занавеску, я заглянул: что будет делать оса? И вижу, как из этой самой карамельки, которая была раньше еще прогрызена вместе с оберткой, она жадно поела начинку из яблочного повидла. Занавеску не

опускаю... И вот, видно, насытившись и отогревшись, она задними лапками почистила крылышки, через передние пропустила привычными движениями усики, словно не зимовать, а на летний бал собиралась. Затем почесала свое полосатое, похожее на веретено, брюшко; тщательно, словно невидимым полотенцем, протерла большие глазищи... Все как летом. И тут же, неожиданно включив крылья, и нырнула в форточку. Куда улетела, не известно. «Ну, — думаю, — перед сном зимним, гибельным поела. На сытый желудок успешнее перезимует». Но каково же было удивление с моей стороны, как в следующий полдень, когда воздух слегка потеплел, опять теми же темпами вдоль стены и в форточку залетела эта оса. И напрямиком к повидлу...

Любопытно: на дворе почти зима, а тут оса. Лучше осталась бы зимовать в избе. На зиму куплю ей горсть любимых конфет, медом угощу, и пусть живет у меня. Помогу даже мух последних выловить... Но каждый раз замечал: как только насытится она, согреется и ходу — сразу к форточке. Однажды, когда установился морозец, а ночью обязательно усилился, оса навестила меня в очередной раз, а я взял да и захлопнул форточку. Пусть со мной зимует. Но днем вижу: вьется неустанно у окна она — ищет свою дверь. Что делать мне? Она лучше знает, что ей нужно и открыл ей форточку. И странно было еще несколько дней видеть, как в полдень она появлялась и все также с жадностью поедала свое повидло... Не странно ли — на горах сплошные снега, парок изо рта идет, снежок повсюду в тени и травах густых, а ей не спиться. Это было также удивительно, если б в наши края суровые залетела из тропиков, скажем, колибри или расцвела бы вдруг роза ...

Снова временами с неба летел снежок, днем подтаивал, а ночами стеклились лужи; но оса прилетала «откушать» и погреться и, как обычно, улетала. Однажды приготовил ей угощения — мед поставил в вазочке и ждал, когда же прилетит? Но оса и в погожий

день уже не прилетела. И какова было радость – на следующий день, во время сухого редкого бурана появилась она вновь. И все повторилось. А утром проснулся от яркого света, залившего избу: снег за ночь укрыл всю землю. Пришла, можно сказать, настоящая зима: белым стало подворье, побелели луга и крыши построек на хуторе; склонив отяжелевшие головы в белых платках, как тетки покорившись времени, стояли лопухи и болиголов. Наступила зима! Конечно, оса больше не прилетела. Где она?! Какая б она не была – полосатая, усатая, которую летом побивался и угощал до самой зимы, а исчезла и стало скучнее, словно друг старый забыл дорогу к дому моему. Заскучал я о ней на всю зиму.

Майка

Только-только снега улеглись, с ними пришли и холода. И вот, однажды, рано-рано, с первым рассветом, кто-то в окно мне: «Тук-тук- тук...»

– Опять, – думаю, – сосед чуть свет притащился за спичками или денег взаймы просить: вчера еще с вечера нескладное песнопение слышалось с их подворья.

– Сейчас, – кричу ему, – валенки только найду.

А он в окно снова да настойчиво постучался. Ругнуть было хотел его, чтобы не торопил, да вижу – в окно-то синица большая бьется – самая привычная нам пичужка. Между прочим, – самая красивая. Не зря говорят, что красивые всегда смелые, так вот синицы совершенно неустрашимы – абсолютно бесшабашные, в форточки залетают, стены, полки обыскивают: не затаился ли кто из двукрылых или еще какой насекомыш. Часто бывало, залетит в форточку и ну посудой греметь, заглядывать в чашки и кружки. Та ли еще безобразница! Но за красоту

их и смелость, за пользу, которую приносят они, охраняя сад мой от вредных насекомых, простить все можно. Не жалко горстку-другую семечек дать, а то и мясца им подбросить.

Валенки не нашел я, где-то на печи или под топчаном лежали, не помню, куда с вечера затолкал. Так что со сна сразу и не нашел, а синице рад был: распахнул форточку, в которую недавно оса залетала, и она ждать себя не заставила. Да и чего ей бояться меня? С лета самого мы с ней – приятели. Залетела и пошла, как дома, углы все обшаривать, на занавесках виснуть, где-то прятаться и, как мышь, появляться. Швырнул ей семечек – любительница их: тут же цинькнула тонко, схватила семечко присела на полку с посудой и, зажав его крепко лапами, стала долбить, а так яростно: ложки и чашки перезванивались. Три-пять семечек раскрошила, скорлупу по всему полу разбросала; насорила тебе и если надо – так сам убирай и «фырр» в форточку...

У синицы на желтой майке – полсока темная через всё брюшко проходит и кажется – носит майку желтую. Поэтому звать стал ее ни как-нибудь, а Майка. У соседа моего, за горкой, так же корову кличут. Кстати говоря, коровенка его вроде и тихая, а пакостница великая: забредет потихоньку в подворье, – полотенце если висит на веревке, белье какое на заборе, – зажуеет, а то еще чего-нибудь натворит, все разве упомнишь? Пакостная, вот и все.



Наверное, все Майки такие, не знаю.

Время в селе, когда в избе случается делать нечего, ох как медленно тянется. Порой, кажется – от тоски пропадешь, но после бурана снег в подворье разгребаешь, отбрасываешь его от порога и двор в порядок приводишь – минуты, как пух тополиный, дни, как осенние листья с дерева...

И пока со снегом управишься, дров подколешь для самовара, по воду сходишь, чаю вскипятишь, да еще на следы под окнами зверушек разных поглядишь или воздухом морозным надышишься – и время проходит совсем не заметно. Зимой также здесь день за днем, как бабочки красивые мимо пролетают. А если скотину держишь, моргнуть не успеешь, как солнце за горизонтом уже. И открываются звездные дали, здесь они по-особому, как алмазные светятся. Но у меня нет ни коровы, ни поросят. Собаки в первый год и той пока не завел. Так что дела мои более чем просты – за речной водой для стирки к проруби сходишь, на лыжах по косограм проедешься, в леске вокруг подворья лыжню проложишь, не то что в городе, не заметишь, как день проходит.

С того времени, как Майка навещать меня стала – день для меня удлинился. Просто все было: прилетит до восхода, в то самое время, когда людям нормальным сны еще снятся. А она: «Тук-дук-тук...» – по стеклам, попробуй не открой форточку, сердится: того и гляди окно разнесет. Так вот и пошло каждое утро: Майка прилетала, безобразничала в избе и улетала; не замети, как Новый год встал у порога. Знаю, в городе суетятся в это время, с подарками, к встрече его готовятся... Елки ставят дома, на площади городской и всюду люди гуляют, а тут, признаться, скучновато. Однако, и здесь есть непреложные прелести, каких в городе не сыщешь: за порогом сразу яркие, чистые звезды – одна ярче другой; колючие, глазастые, снега чистые и по пояс. Голубеют днем, вечерами золотятся при сиянии лунном;

тени у сутробов голубыми медведями отдыхают. Тишина, воздух чистый, морозный... Тишина! Разве что собаки в чужих дворах всполошатся, перебрешутся, и снова порядок. Но в этот вечер и мне что-то скучновато стало, человек-то я – городской, но хорошо – прилетела с вечера Майка. На улице мороз постреливает, уши пощипывает... Куда, думаю, ей, в такую стужу на ночь глядя, к тому же Новый год на носу. Пусть у меня заночует, все веселее мне и ей теплее. Прикрыл форточку и, надо сказать, эту дамочку несколько поведение мое не смутило. Представьте: полночь, часы-ходики отстукали двенадцать, цепью прогремели что, мол, наступил Новый год. Президент наш по телевидению выступил, концерты пошли... Для важности и настроения выпил стакан медовухи, благословив год наступивший и пчел, что мед собирали да соседу в улей таскали, а со мной-то он поделился. Взял, признаюсь, без стеснения: пчелы его с цветов моего подворья лето все нектар и пыльцу таскали, мало того, не раз еще кусали ни за что, ни про что.

Поздравил я с Новым годом Майку, пожелав ей лет десять, как минимум без особых забот и усилий особых прожить да кучу птенцов вырастить, таких же разбойников.

Сидела Майка на макушке елочки, на которой рыбками конфетки разноцветные висели... Да и она сама как игрушка на макушке – цветная. Сидит, со мной передачи по телевидению смотрит, а сама нет-нет, да и быстрыми, блескучими глазками, как мышка из норки, зыркнет. Знает – не обижу...

Я понимаю – не первый раз Новый год в теплой избе встречает. Встретили мы праздник с ней; свет в комнате пригасил, чтобы не мешал сны ей птичьи смотреть. Да только опять утром: «Тук-дык-тук...» Сквозь сон слышу и думаю: прилетела, голодная... Да, только Майка теперь стучалась в окно и рвалась на улицу: чтобы открыл

форточку. В тепле хорошо, оказывается. Но на воле лучше...

Открыл, форточку ей, чтобы настроение новогоднее не портить и Майка упорхнула.

– Хорошо мы встретили наш Новый год, – думал я, подметая под елочкой разодранные обертки с конфет, разбросанную кожуру от семечек, да еще и оставленные ею визитные карточки – белые пятнышки, – если уж провели праздник вместе, – рассуждаю, – значит и всю зиму будем дружить.

Так все и было: каждое утро, как прежде, хотел я того или нет, Майка настойчиво меня будила, потому что на дворе снега и мороз, потому что ей, как и всем, есть очень хотелось...



Содержание

Книжка адресована юным читателям	3
«Старое подворье» Бориса Щербакова	5
Дом на отшибе	8
Деревенское утро	10
Мои соседи	10
Первое знакомство	12
Самый надменный	14
Глухая и застенчивая	15
Ромашники	16
Синий налетчик	17
Коренной степняк	19
Зеленый лизун	20
Шоколадное семейство	21
Черемуха	22
Серебряный солист	24
Великан	25
Подкидыш	26
Жуткая ночь	28
Поющий столб	33
Деревянный журавль	34
Крики из поднебесья	36
Цветок небес лазурных	38
Усатая «пичужка»	39
Хатьма	42
Враги искусства и литературы	43
Ночные луногрызы	45
Цветы из детства	47
Выпей с ладошки моей	49
Пернатый командир	52
Небесный ледоход	54
Что делать, как быть?	55
О чем они мыслят?	58
В гостях у старых друзей	61
Вруша!	63
Солнечная птица	64
О чем поведала реченька	65
На нас они не похожие!	67
Степь и только степь	68

<i>О чем думает степь?</i>	70
<i>Маленькие чудеса степей</i>	71
<i>У лужицы</i>	72
<i>Воровка златоперая</i>	73
<i>Семь смертных грехов</i>	76
<i>Дед Дык – учитель великий</i>	77
<i>При исполнении...</i>	79
<i>Маэстро музыки цветов</i>	81
<i>Всё только для меня</i>	85
<i>Сыновья тебе «благодарность»</i>	85
<i>И радостно, и тревожно...</i>	86
<i>Между водой и небом</i>	88
<i>Зимородок</i>	90
<i>Трагедия Солнца</i>	91
<i>Шум и скандал великий</i>	92
<i>Всем на зло</i>	96
<i>Осень у подворья уже</i>	97
<i>На свиданье с осенью</i>	99
<i>Красное – желтое...</i>	99
<i>Всё в ожидании</i>	101
<i>Голубая музыка осени</i>	103
<i>Вслушиваясь в тишину</i>	104
<i>Октябрьским днем</i>	106
<i>Под солнцем скупым</i>	108
<i>Осенний свет</i>	109
<i>Последний букет</i>	112
<i>Усатые, полосатые...</i>	113
<i>Майка</i>	117

12-007.

пографія
ОСЛОК
ЕЧАТЬ
ь-КАМЕНОГОРСК

